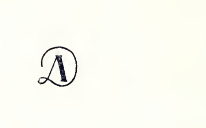

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
СКАЗКИ
Д
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“











ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СКАЗКИ

МОСКВА „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“ 1979

Р 1
С 16

Текст печатается по изданию: Н. Щедрин
(М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений.
ГИХЛ. Москва, 1937. Т. 16.

Составление, вступительная статья и примечания
М. С. ГОРЯЧКИНОЙ

Рисунки
М. СКОБЕЛЕВА и А. ЕЛИСЕЕВА

ПЕРЕИЗДАНИЕ

С $\frac{70803-250}{М101(03)79}$ Без объявл.

БОЕВАЯ САТИРА

В жанре сказки наиболее ярко проявились идейные и художественные особенности щедринской сатиры: ее политическая острота и целеустремленность, реализм ее фантастики, беспощадность и глубина гротеска, лукавая искрометность юмора.

«Сказки» Щедрина в миниатюре содержат в себе проблемы и образы всего творчества великого сатирика. Если бы, кроме «Сказок», Щедрин ничего не написал, то и они одни дали бы ему право на бессмертие. Из тридцати двух сказок Щедрина двадцать девять написаны им в последнее десятилетие его жизни (большинство с 1882 по 1886 год) и лишь только три сказки созданы в 1869 году.

Сказки как бы подводят итог сорокалетней творческой деятельности писателя.

Перед читателем вновь возникают знакомые образы щедринских помпадуров — правителей России (сказки «Бедный волк», «Медведь на воеводстве»), эксплуататоров-крепостников («Дикий помещик», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»), врагов революции — охранителей существующего порядка («Вяленая вобла»), трусливых, продажных либералов («Либерал», «Обманщик-газетчик и легковерный читатель»), обывателей, смирившихся перед реакцией («Премудрый пескарь», «Самоотверженный заяц», «Здравомысленный заяц»), образы жестоких и тупых самодержцев России («Богатырь», «Орел-меценат») и, наконец, образ великого русского народа — труженика-страстотерпца, накопляющего силы для решительной борьбы («Коняга», «Ворон-челобитчик», «Баран непомнящий» и многие другие).

Зоологические маски не скрывают политической сущности этих излюбленных щедринских образов, а, наоборот, подчеркивают и даже обнажают ее.

К сказочному жанру Щедрин прибегал в своем творчестве часто. Элементы сказочной фантастики есть и в «Истории одного города», а в сатирический роман «Современная идиллия» и хронику «За рубежом» включены законченные сказки.

И не случайно расцвет сказочного жанра приходится у Щедрина на 80-е годы. Именно в этот период разгула полити-

ческой реакции в России сатирику приходилось выискивать форму, наиболее удобную для обхода цензуры и вместе с тем наиболее близкую, понятную простому народу. И народ понимал политическую остроту щедринских обобщенных выводов, скрытых за эзоповской речью и зоологическими масками.

С глубокой горечью, узнав о смерти Щедрина, тифлисские рабочие писали его семье: «В его последних задушевных сказках, которые мы любим и понимаем лучше других рассказов, мы видим ясно темные и непонятные доселе стороны окружающей нас жизни. Эти сказки так действуют на душу читателя, что у иных даже слезы показываются на глазах, видя горе и обиды беззащитного человека. В особенности нам нравятся... «Путем-дорогою», где мы видим родственных себе рабочих, горемык безвинных; «Коняга», «Соседи», «Христова ночь», «Карась-идеалист» и другие. Кто не полюбит эти сказки, кто не поймет, что автор их любил и жалел простой народ? Он знал и чувствовал наше горе и видел, что мы всю жизнь свою проводим в тяжелом, беспросветном труде, не пользуясь плодами его. За Его любовь к нам и ко всему честному и справедливому мы посылам Ему свое сочувственное прощальное слово и как человека с благородной, любящей душой, друга угнетенных, борца за свободу, провожаем глубокой грустью».

Мы видим, что уже при жизни своей Щедрин стал духовным вождем не только для прогрессивной русской интеллигенции, но и для трудового народа. Создавая свои сказки, Щедрин опирался не только на опыт народного творчества, но и на сатирические басни великого Крылова, на традиции западноевропейской сказки. Он создал новый, оригинальный жанр *политической сказки*, в которой сочетаются фантастика с реальной, злободневной политической действительностью.

Сказки Щедрина рисуют не просто злых и добрых людей, борьбу добра и зла; как большинство народных сказок тех лет, они раскрывают классовую борьбу в России второй половины XIX века, в эпоху становления буржуазного строя. Именно в этот период с особой остротой проявлялись основные свойства эксплуататорских классов, их идейные и моральные принципы, их политические и духовные тенденции.

В сказках Щедрина, как и во всем его творчестве, противостоят две социальные силы: трудовой народ и его эксплуататоры. Народ выступает под масками добрых и беззащитных зверей и птиц (а часто и без маски, под именем «мужик»), эксплуататоры — в образах хищников. Символом кре-

стьянской России, замученной эксплуататорами, является образ Коняги из одноименной сказки. Коняга — крестьянин, труженик, источник жизни для всех. Благодаря ему растет хлеб на необъятных полях России, но сам он не имеет права есть этот хлеб. Его удел — вечный каторжный труд. «Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования...» — восклицает сатирик.

До предела замучен и забит Коняга, но только он один способен освободить родную страну. «Из века в век цепенеет грозная неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге». Эта сказка — гимн трудовому народу России, и не случайно она имела такое большое влияние на современную Щедрину демократическую литературу. Писатель щедринской школы, революционный народник П. Засодимский в романе «По градам и весям» почти дословно повторяет щедринскую характеристику мужика-коняги, представляя в образе «вечного мужика за своею сохою» всю крестьянскую Россию. «В самом деле, не эмблема ли это земли русской!.. Куда ни глянь — все он со своей сохой да с жалкой клячей», — думает герой этого романа.

Обобщенный образ труженика — кормильца России, которого мучают сонмища паразитов-угнетателей, — есть и в самых ранних сказках Щедрина: «Как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик». «А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше, словно муха, ходит — это он самый я и есть!» — говорит генералам спаситель-мужик.

Показывая каторжную жизнь трудящихся, Щедрин скорбит о покорности народа, о его смирении перед угнетателями. Он горько смеется над тем, что мужик, по приказу генералов, сам вьет веревку, которой они его затем связывают.

Почти во всех сказках образ народа-мужика обрисован Щедриным с любовью, дышит несокрушимой мощью, благородством. Мужик честен, прям, добр, необычайно сметлив и умен. Он все может: достать пищу, сшить одежду; он покоряет стихийные силы природы, шутя переплывает «океан-море». И к поработителям своим мужик относится насмешливо, не теряя чувства собственного достоинства. Генералы из сказки «Как один мужик двух генералов прокормил» выглядят жалкими пигмеями по сравнению с великаном мужиком. Для их изображения сатирик использует совсем иные краски.

Они «ничего не понимают», они грязны физически и духовно, они трусливы и беспомощны, жадны и глупы. Если подыскивать животные маски, то им как раз подходит маска свиньи.

А между тем эти свиньи мнят себя людьми благородными, помыкают мужиком, как животным: «Спишь, лежебок!.. сейчас марш работать!» Спасшись от смерти и разбогатев благодаря мужику, генералы высылают ему на кухню жалкую подачку: «...рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!» Саркастическое восклицание автора полно глубокого смысла. Сатирик подчеркивает, что ждать народу от эксплуататоров лучшей жизни бесполезно. Счастье свое народ может добыть, только сбросив иго тунеядцев.

В сказке «Дикий помещик» Щедрин как бы обобщил свои мысли о реформе «освобождения» крестьян, содержащиеся во всех его произведениях 60-х годов. Он ставит здесь необычайно остро проблему пореформенных взаимоотношений дворян-крепостников и окончательно разоренного реформой крестьянства: «Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: моя вода! курица за околицу выбредет — помещик кричит: моя земля! И земля, и вода, и воздух — все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу:

— Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!»

Этот помещик, как и генералы из сказки о двух генералах, не имел никакого представления о труде. Брошенный своими крестьянами, он сразу превращается в грязное и дикое животное. Он становится лесным хищником. И жизнь эта, в сущности, — продолжение его предыдущего хищнического существования. Внешний человеческий облик дикий помещик, как и генералы, приобретает снова лишь после того, как возвращаются его крестьяне. Ругая дикого помещика за глупость, исправник говорит ему, что без мужицких «податей и повинностей» государство «существовать не может», что без мужиков все умрут с голоду, «на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя» да и денег у господ не будет. Народ — созидатель богатства, а правящие классы лишь потребители этого богатства.

Представители народа в сказках Щедрина горько размышляют над самой системой общественных отношений в России. Все они ясно видят, что существующий строй обеспечивает счастье только богатым. Вот почему сюжет большин-

ства сказок построен на перипетиях жестокой классовой борьбы. Борьба эта — основная движущая пружина собственнического общества. Никакой гармонии, никакого мира не может быть там, где один класс живет за счет другого, держит народ в кабале. Даже в том случае, если представитель правящего класса пытается быть «добрым», он не в состоянии облегчить участь эксплуатируемых.

Об этом хорошо говорится в сказке «Соседи», где действуют крестьянин Иван Бедный и либеральный помещик Иван Богатый. Иван Богатый «сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил... А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но взамен того производил ценности». Оба соседа с удивлением видят, что в мире происходят странные вещи: так «хитро эта механика устроена», что «который человек постоянно в трудах находится, у того по праздникам пустые щи на столе; а который при полезном досуге состоит — у того и в будни щи с убоиной. С чего бы это?» — спрашивают они. Не смог решить этого противоречия и Наибольший (в черновом варианте рукописи «батюшка царь»), к которому обратились оба Ивана.

Настоящий ответ на этот вопрос дает деревенский философ Простофиля. По его мнению, противоречие заключено в самом несправедливом социальном строе — «планте». «И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту́ так значится», — говорит он соседям.

Замысел этой сказки, как и других сказок Щедрина, именно и состоит в том, чтобы призвать народ к коренному изменению «планта» — несправедливого социального строя, основанного на эксплуатации. Над вопросом о путях изменения общественного строя России тщетно бьются: Левка-дурак (в сказке «Дурак»), сезонные рабочие из «Путем-дорогою», ворон-челобитчик из одноименной сказки, карась-идеалист, мальчик Сережа из «Рождественской сказки» и многие другие.

Ворон-челобитчик обращается по очереди ко всем высшим властям своего государства, умоляя улучшить невыносимую жизнь ворон-мужиков, но в ответ слышит лишь «жестокие слова» о том, что сделать они ничего не могут, ибо при существующем строе закон на стороне сильного. «Кто одолеет, тот и прав», — наставляет ястреб. «Посмотри кругом — везде рознь, везде свара», — вторит ему Коршун. Таково «нормальное» состояние собственнического общества.

И хотя «воронье живет обществом, как настоящие мужики», оно бессильно в этом мире хаоса и хищничества. Мужики беззащитны. «Со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только знай перевертываются. Каким таким манером случилось, что Губошлепов дорогу заполучил, а у них после того по гривне в кошеле убавилось — разве темный человек может это понять?..» Все попытки «исправления» собственнического строя обречены на неудачу, а люди, надеющиеся на классовую идиллию, — или маскирующиеся враги народа, вроде буржуазных либералов, или наивные идеалисты-утописты. Именно таким выведен карась-идеалист в одноименной сказке.

Коршун из сказки «Ворон-челобитчик» хотя был жестоким хищником, но он говорил ворону правду о звериных законах окружающего их мира.

Вреднее оказывались люди, стремящиеся к примирению классовых противоречий, те, кто проповедовал приход общественной гармонии без всяких усилий со стороны угнетенных. Их вера в перестройку психологии хищников, в абстрактные идеи добра и гуманности могла обезоружить народ. И Щедрин высмеивает эти идеи в образе прекраснодушного фразера карася-идеалиста.

Карась не лицемер, он по-настоящему благороден, чист душой. Его идеи социалиста заслуживают глубокого уважения, но методы их осуществления наивны и смешны. Щедрин, будучи сам социалистом по убеждению, не принимал теории социалистов-утопистов, считал ее плодом идеалистического взгляда на социальную действительность, на исторический процесс. «Не верю... чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию...» — разглагольствовал карась. Кончилось тем, что его проглотила щука, и проглотила машинально: ее поразили нелепость и странность этой проповеди.

Известный русский художник И. Н. Крамской в письме к Щедрину — 25 ноября 1884 года — называет сказку «Карась-идеалист» «высокой трагедией», подразумевая под этим крах иллюзий социалистов-утопистов (хотя сам он и объявляет себя сторонником этих иллюзий). История подтвердила прозорливость великого сатирика.

В иных вариациях теория карася-идеалиста получила отражение в сказках «Самоотверженный заяц» и «Здравомыс-

ленный заяц». Здесь героями выступают не благородные идеалисты, а обыватели-трусы, надеющиеся на доброту хищников. Зайцы не сомневаются в праве волка и лисы лишить их жизни, они считают вполне естественным, что сильный поедает слабого, но надеются растрогать волчье сердце своей честностью и покорностью. «А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!» Хищники же остаются хищниками. Зайцев не спасает то, что они «революций не пущали, с оружием в руках не выходили». Олицетворением бескрылой и пошлой обывательщины стал щедринский премудрый пескарь — герой одноименной сказки. Смыслом жизни этого «просвещенного, умеренно-либерального» труса было самосохранение, уход от столкновений, от борьбы. Поэтому пескарь прожил до глубокой старости невредимым.

Но какая это была паскудная, унизительная жизнь! Она вся состояла из непрерывного дрожания за свою шкуру. «Он жил и дрожал — только и всего». Эта сказка, написанная в годы политической реакции в России, без промаха била по либералам, пресмыкающимся перед правительством из-за собственной шкуры, по обывателям, прятавшимся в своих норах от общественной борьбы. На многие годы запали в душу мыслящих людей России страстные слова великого демократа: «Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари». Таких «пескарей»-обывателей Щедрин показал и в романе «Современная идиллия». Их трусливое «годенье», выжидание, нисколько не лучше погромов активных черносотенцев. И те и другие — враги народа, враги революции. Такими же врагами являлись дворянские и буржуазные либералы, ходившие в масках народных защитников.

Щедрин саркастически бичует их во многих произведениях, особенно в 70—80-е годы. В сказке «Либерал» он с предельной страстностью сконцентрировал эту ненависть и презрение. Здесь показана эволюция либерализма от требований «по возможности» до бесстыдных действий «применительно к подлости». Программа эта ничем не отличается от программы воинствующего консерватизма вяленой воблы (из одноименной сказки), девизом которой было: «Не растут уши выше лба! не растут!»

Острие сатиры щедринских сказок было направлено на разоблачение всяких попыток буржуазных идеологов иска-

зить характер классовой борьбы в России, внушить народу ложное представление о социальной действительности.

Сказки Щедрина будили политическое сознание народа, звали к борьбе, к протесту. «Доколе мы будем терпеть? Ведь ежели мы...» — грозит властям ворон-челобитчик от имени вороньего общества.

Наиболее резко и открыто сарказм Щедрина, его политический пафос народного защитника проявился в сказках, изображающих бюрократический аппарат самодержавия и правящие верхи вплоть до царя.

В сказках «Игрушечного дела людишки», «Недреманное око», «Праздный разговор» предстают образы чиновников, грабящих народ. Мастер игрушек Иноземцев демонстрирует перед рассказчиком ряд кукол-чиновников. Ранги и внешность их различны, а сущность одна: они грабители и мучители народа. Жестокие куклы-угнетатели — хозяева жизни! Такова идея этой сказки, как и идея сатирического романа «История одного города», книги сатирических рассказов «Помпадуры и помпадурши». «Взглянешь кругом: все-то куклы! везде-то куклы! несть конца этим куклам! Мучат, тиранят! в отчаянность, в преступление вводят!» — с тоской восклицает мастер Изуверов — единственный человек в этом кукольном царстве. Мысль об антинародности правосудия в собственническом обществе проводится в сказке «Недреманное око». Прокурор Куралесыч — герой сказки — имел два ока: дреманное и недреманное. «Дреманным оком он ровно ничего не видел, а недреманным видел пустяки». Он был занят охраной «основ государства», искоренял «крамолу», целый день кричал: «Взять его! связать его! замуровать! законопатить!» Преследуя народ, прокурор оберегал от народного гнева подлинных воров и хищников. Когда ему на них указывали, он возмущался: «Врешь ты, такой-сякой! Это не хищники, а собственники!.. Это вы нарочно, бездельники, кричите, чтобы принцип собственности подрывать!»

В сказках Щедрина раскрывается гнилость основ самодержавного строя, неизбежная гибель эксплуататоров.

Топтыгины из сказки «Медведь на воеводстве», посланные львом на воеводство, целью своего правления ставили как можно больше совершать «кровопролитий». Этим они вызвали гнев народа, и их постигла «участь всех пушных зверей» — они были убиты восставшими. Такую же смерть от народа принял и волк из сказки «Бедный волк», который тоже «день и ночь разбойничал».

В период политической реакции 80-х годов сказки эти звучали особенно злободневно, без промаха били по организаторам контрреволюционного террора. Вновь и вновь ставит сатирик вопрос о непримиримости классовых противоречий в обществе, основанном на эксплуатации, ибо «не может волк, не лишая живота, на свете прожить». В сказке «Орел-меценат» дана уничтожающая пародия на царя и правящие классы. Орел — враг науки, искусства, защитник тьмы и невежества. Он уничтожил соловья за его вольные песни, грамотея дятла «нарядил... в кандалы и заточил в дупло навечно», разорил дотла ворон-мужиков. Кончилось тем, что вороны взбунтовались, «снялись всем стадом с места и полетели», оставив орла умирать голодной смертью. «Сие да послужит орлам уроком!» — многозначительно заключает сказку сатирик.

С необычайной смелостью и прямотой о гибели самодержавия и неизбежности революции говорится в сказке «Богатырь». Сказка эта при жизни Щедрина не могла быть напечатана и увидела свет только после Великой Октябрьской революции. Щедрин высмеивает здесь веру в «гнилого» Богатыря, отдавшего на разгром и издевательство свою многострадальную страну. Иванушка-дурачок «перешиб дупло кулаком», где спал Богатырь, и показал всем, что он давно сгнил, что помощи от Богатыря ждать нельзя.

Все сказки Щедрина подвергались цензурным гонениям и многим переделкам. Многие из них печатались в нелегальных изданиях за границей. Этими изданиями и пользовались русские революционеры, ведущие пропаганду в народе.

Маски животного мира не могли скрыть политическое содержание сказок Щедрина. Перенесение человеческих черт — и психологических и политических — на животный мир создавало комический эффект, наглядно обнажало нелепость существующей действительности.

Фантастика щедринских сказок реальна, несет в себе обобщенное политическое содержание. Орлы «хищны, плотоядны...». Живут «в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают» — так говорится в сказке об орле-меценате. И это сразу рисует типические обстоятельства жизни царственного орла и дает понять, что речь идет совсем не о птицах. И далее, сочетая обстановку птичьего мира с делами отнюдь не птичьими, Щедрин достигает высокого политического пафоса и едкой иронии. Так же построена сказка о Топтыгиных, пришедших в лес «внутренних супостатов усмирять».

Не затемняют политического смысла зачины и концовки, взятые из волшебных народных сказок, образ Бабы-Яги, Лешего. Они только создают комический эффект. Несоответствие формы и содержания способствует здесь резкому обнажению свойств типа или обстоятельства.

Иногда Щедрин, взяв традиционные сказочные образы, даже и не пытается ввести их в сказочную обстановку или использовать сказочные приемы. Устами героев сказки он прямо излагает свое представление о социальной действительности. Такова, например, сказка «Соседи».

Сюжет некоторых сказок несет в себе элементы драматизма. Щедрин раскрывает трагедию представителей собственнического общества, которых, как и Иудушку Головлева, окончательно добивает проснувшаяся совесть («Бедный волк», «Христова ночь», «Чижиково горе»). В этом сказались просветительские черты мировоззрения Щедрина.

Язык щедринских сказок глубоко народен, близок к русскому фольклору. Сатирик использует не только традиционные сказочные приемы, образы, но и пословицы, поговорки, присказки («Не давши слова — крепись, а давши — держись!», «Двух смертей не бывать, одной не миновать», «Уши выше лба не растут», «Моя изба с краю», «Простота хуже воровства»). Диалог действующих лиц красочен, речь рисует конкретный социальный тип: властного, грубого орла, прекраснодушного карася-идеалиста, злобную реакционерку воблушку, ханжу попа, беспутную канарейку, трусливого зайца и т. п.

Иной язык у персонажей, олицетворяющих трудовой народ. Их речь естественна, умна, лаконична. Это речь человека, а не маски, не куклы. Им свойствен глубокий лиризм, слова их идут от страдающего и доброго сердца. Примером того может служить диалог из сказки «Путем-дорогою», «Ворон-челобитчик» или из сказки-элегии «Приключение с Крамольниковым». В сказке-элегии герой изливает свою душу, упрекает себя в отрыве от активного революционного действия, признает, что его место в рядах идущих в бой за народное дело. Это мысли самого Щедрина.

Образы сказок вошли в обиход, стали нарицательными и живут многие десятилетия, хотя в нашей стране исчезла социальная система, порождающая их. Знакомясь с ними, каждое новое поколение нашей Родины познает не только историю своей страны, но учится распознавать и ненавидеть их враждебные черты в современном капиталистическом мире.

М. Горячкина



ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, — сказал один генерал, — вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! да что ж это такое! Где мы! — вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше, как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слезы. — Ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что, — отвечал другой генерал, — подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое. Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство; вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов*[1] учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошел один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что

[1] Слова, помеченные звездочкой, объяснены в конце книги, стр. 140—142.

надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь?

— Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей»*, и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да, — отвечал другой генерал,—признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают.

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как все это сделать?

— Как все это сделать? — словно эхо повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями * и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел!— сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены!— вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья,

раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом. — Ведь этак мы друг друга съедим!

— И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство; но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать пора!

Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся...

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

— Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

— «Вчера, — читал взволнованным голосом один генерал, — у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как

бы рандеву[1] на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомец лесов кавказских, фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника...»

— Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее: — «Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв в свою очередь газету, прочел: — «Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же от огорчения печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, — все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?

— То есть как же... мужика?

— Ну да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

[1] Свидание *(франц.)*.

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили, как встрепанные, и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него. — Небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: не дать ли и тунеядцу частичку?

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние все накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли



деле было вавилонское столпотворение*, или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что в противном случае как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют...

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани, — и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! все сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

— Еще как жалко-то! Особливо как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше, словно муха, ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить*, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет да кормит генералов селедками.

Вот наконец и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

ДИКИЙ ПОМЕЩИК

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и, на свет глядючи, радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, — видит и опасается: а ну, как он у меня все добро приест?

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: старайся!

— Одно только слово написано, — молвит глупый помещик, — а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин на-

рубить по секрету в господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим. — Потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть; куда ни глянут — все нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: моя вода! курица за околицу выбредет — помещик кричит: моя земля! И земля, и вода, и воздух — все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу:

— Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думает, театр у себя! напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский; сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр и занавес поднимать некому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

— Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

— Стало быть, шампиньоны на лице ростить собрался? — сказал Садовский и с этим словом и сам уехал и актерок увез.



Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я все гран-пасьянс да гран-пасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульку-другую сыграть!»

Сказано — сделано; написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это, — хвастается помещик, — что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы. — Стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет?

— Нисколько, — отвечает помещик.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкафу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

— Что ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сырьем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гран-пасьянс.

— Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого

одолеет! Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз» и думает: ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать. И, как назло, сколько раз ни разложит, все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

— Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь покуда довольно гран-пасьянс раскладывать, пойду позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб всё паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовитый сад разведет: вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех! Посмотрит в окошко — ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться — ан там уж пыли на вершок насело...

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: — Ну, пускай себе до поры до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, — и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: быть твердым и не взирать! Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра...

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя. — Хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая занесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-

исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкап, вынул два печатных пряника и думает: ну, этот, кажется, останется доволен!

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные* вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

— А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил.

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?.. это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий* существовать не может?

— Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто вследствие одной его непреклонности остановились и подати и регалии и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» — и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и все думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли

водворением* каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!» Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит: а глупый ты, господин помещик! Видит он, бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гран-пасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

— Кшш... — бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин князь Урус-Кучум-Кильдибаев от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав*, а ногти у него сделались, как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее

между свистом, шипеньем и рявканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка в один миг взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, — а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские отношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь. — Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил.

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: а как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься? Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каковом человеко-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами;

но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берете!!

Что же сделалось, однако, с помещиком? — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ

Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки* в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло́ не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый пискарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать*, так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И нево́да, и сети, и ве́рши, и норота́, и, наконец... уду! Кажется, что может быть глупее уды? — Нитка, на нитке — крючок, на крючке — червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он. — Потому что хоть и глу-

пейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься — ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и голавли, и плотва, и гольцы, даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот сейчас или та, или другой его съедят, а они — не трогают... «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит — «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере во время бури, ходуном ходит. Это «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунется, потом как полоумная выскочит, потом опять окунется — и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пущай в реке порастет!» Взял его под жабры да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает...

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то что мутовку облизать*. «Надо глядеть в оба, — сказал он себе, — а не то как раз пропадешь!» — и стал жить да поживать. Первым делом нору для себя такую при-

думал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей недосыпает, куска недоедает, и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Что, если б в это время щурёнок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул в предвкушении сна, — глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи, жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее и окуни на нас, мелюзгу, не за́рились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! кажется, жив!»

Даже щуки под конец и те стали его хвалить: вот кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было! Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава богу, я своею смертью помираю, так же как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет»... А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!

Потому что для продолжения пискарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни



тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву! Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто.

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде; ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может быть, как и он, пискари, — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: дай-ка спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал? Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет? А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его помаленьку да полегоньку целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось — щука ли его за-

глотала, рак ли клешней перешиб или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и *премудрого?*

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Заинька! остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает: через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются: ха-ха! И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат... А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: изменил мне косой! А может быть, подождала-подождала да и с другим... слюбилась... А может быть, и так: играла бедняжка в кустах, а тут ее волк... и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего — куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит... Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается — ан это невестин брат.

— Невеста-то твоя помирает, — говорит. — Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает: неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!

Слушал эти слова осужденный, а сердце его на части разрывалося. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пущал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности — неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой заиньке, которая тем только и виновата, что его, косого, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую заиньку, передними лапками за ушки и все бы миловал да по головке бы гладил.

— Бежим! — говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет — и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

— Не могу, — говорит, — волк не велел.

А волк между тем все видит и слышит и потихоньку по-волчьи с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

— Бежим! — опять говорит посланец.

— Не могу! — повторяет осужденный.

— Что вы там шепчетесь, злоумышляете? — как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу — что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой заиньке и без жениха и без братца — обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые — а перед ними и волк и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

— Мы, ваше благородие, ничего... так, промежду себя... землячок проведать меня пришел! — лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху.

— То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

— Так и так, ваше благородие, — вступился тут невестин брат, — сестрица моя, а его невеста помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

— Гм... это хорошо, что невеста жениха любит, — говорит волчиха. — Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк, отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

— Да ведь его на послезавтра есть назначено...

— Я, ваше благородие, прибегу... я мигом оборочу... у меня это... вот как бог свят прибегу! — заспешил осужденный и, чтобы волк не сомневался, что он *может* мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

— Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом* у себя оставил.

— Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра, — сказал он, — я его вместо тебя съем; а коли воротишься — обоих съем, а может быть... ха-ха... и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется — он ее «на уру» возьмет; река — он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото — он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непременно женюсь!» — ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть...

Даже птицы его быстроте удивлялись, говорили: «Вот в «Московских ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа, а пар,* а вон он как... улепетывает!»

Прибежал наконец. Сколько тут радостей было — этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая заинька как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать — это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем; не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем на-

кормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы — всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:

— Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

— Что больно к спеху занадобилось? — подшучивает над ним зайчиха-мать.

— Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову — господин. Судили тут тетки и сестрицы — и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова — крепись, а давши — держись! никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

— Беспременно меня волк съест, — говорил он, — так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытьи (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

— А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сраженье кипело. В третьем месте холера проявилась — надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть... А кроме того, волки, лисицы, совы — на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косой; заранее так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссечены, на бо-

ках от колючих ветвей шерсть клочьями висит; глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось! И все-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит! Вспомнит он об этом и еще шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота — всё ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг все кругом затихло, словно помертвело. А косой все бежит и все одну думу думает: неужто ж я друга не выручу!

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг — пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы денные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее... А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот наконец гора. За этой горой — болото и в нем — волчье логово... опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы... вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения... неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним, как на блюдечке. Где-то вдали на колокольне бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтоб разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

— Здесь я! здесь! — крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

— Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите до поры до времени оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!

МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ

Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и в качестве таковых заносятся на скрижали Истории*. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

I. ТОПТЫГИН 1-й

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать; следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали Истории попасть желал и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли — он все на одно поворачивал: кровопролитиев... кровопролитиев... вот чего нужно!

За это Лев произвел его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по своему норовил. Звери — рыскали, птицы — летали, насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот ужо приедет майор, — говорили они, — засыплет он нам — тогда мы и узнаем, как кузькину тещу зовут*!»

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый михайлов день, и сейчас же решил: быть назавтра кровопролитию. Что заставило его принять такое решение — неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что в ожидании кровопролития задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать

лечь. Улегся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь чижику. Особенный это был чижик, умный: и ведерко таскать умел и спеть, по нужде, за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: «Увидите, что наш чижик со временем поноску носить будет!» Даже до Льва об его уме слух дошел, и не раз он Ослу говаривал (Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл): «Хоть одним бы ухом послушал, как чижик у меня в когтях петь будет!»

Но как ни умен был чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает: беспременно это должен быть внутренний супостат!

— Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? — рявкнул он наконец.

Улететь бы чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел; сгреб грубияна в лапу да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел.

Съесть-то съел, да съевши спохватился: что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось? Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел — только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная.

— Зачем я его съел? — допрашивал сам себя Топтыгин. — Меня Лев, посылаючи сюда, предупреждал: делай знатные дела, от бездельных же стерегись! а я с первого же шага чижей глотать вздумал! Ну, да ничего! первый блин всегда комом! Хорошо, что по раннему времени никто дурачества моего не видал.

Увы! не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии...

И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит:

— Дурак! его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он чижика съел!

Взбеленился майор; полез за скворцом на березу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь — на другую, а скворка — опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

— Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел!

Он — за вороной, ан из-за куста заинька выпрыгнул:

— Бурбон стоеросовый! Чижика съел!

Комар из-за тридевять земель прилетел:

— Risum teneatis, amici![1] Чижика съел!

Лягушка в болоте квакнула:

— Олух царя небесного! Чижика съел!

Словом сказать, и смешно и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и всё мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он на-тко что сделал! И куда ни направит Михайло Иваныч свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: «Дурень ты, дурень! чижика съел!»

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок — так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако все-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он — слушай! Филин уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: «Дурак! чижика съел!»

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умаляется. Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут!

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не

[1] Воздержитесь от смеха, друзья! *(лат.)*

приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ваше степенство! вы — наши отцы, мы — ваши дети!» Все знали, что сам Осел за него перед Львом предстательствует, а уж если Осел кого ценит — стало быть, он того стоит. И вот благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: «Дурак! чижика съел!» Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел... Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства — это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История... Но... чижик! скажите на милость! чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» — крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трущобу стыдно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес.

— Так вот оно, общественное мнение, что значит! — тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло. — А потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадешь... с чижиком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин при упоминовении об ней задумывался. Сам по себе он знал об ней очень смутно, но от Осла слыхал, что даже Лев ее боится: не хорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть! История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он, для начала, стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полесовщика по бревну раскатал — ну, тогда История... а впрочем, наплевать бы тогда на Историю! Главное, Осел бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь, смотрите-ка! — съел чижика и тем себя воспрославил! Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел* — и первым делом чижика съел... ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз и сын степей калмык — все будут говорить: майора Топтыгина послали супостата покорить, а он вместо того чижика съел! Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напредки проходу им школяры не дадут, будут кричать: «Чижика съел! чижика съел!» Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтоб экую па-

кость загладить! Сколько народу ограбить, разорить, загубить!

Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!

Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает: «Ах, что-то Осел об моей майорской проказе скажет!»

И вдруг, словно сон в руку, предписание от Осла: «До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а чижика съели — правда ли?»

Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: «Дурак! чижика съел!» Но частным образом Осел дал виноватому знать (Медведь-то ему кадочку с медом в презент при рапорте отослал): «Непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить...»

— Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю! — молвил Михайло Иваныч и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать да кстати целый лес основ выворотил*. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши все это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения.

Однако ожидания его не сбылись.

Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственнолапно на ословом докладе сбоку нацарапал: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика сиел!»

И приказал отчислить его по инфантерии*.

Так остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографий начал — быть бы ему теперь генералом.



II. ТОПТЫГИН 2-й

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому еще до получения прогонных денег он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство.

Тем не менее карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет; хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда — вон под той сосной — казенный ручной станок, который лесные куранты тискал*, но еще при Магницком* этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре, не переставаючи, пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору по мере начертания на ней письмен точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу по крайней мере университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать («similia similibus curantur» [1]), но получил в ответ, что Магницкий, волею божией, пóмре.

---

[1] «Подобное подобным излечивается» *(лат.)*.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, погубить нельзя, — сказал он себе, — стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

Сказано — сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает, негодяй, что уж в лоск мужичка разорил, а все ему мало кажется. «Постой, — говорит, — я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с сумой по миру пущу!» И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми да и провались. Повис майор на воздухе; видит, что неминучее дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.

Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернутся — кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков.

— Ишь, анафема! перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А ну-тко-то, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы.

Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная История, присовокупив, для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах (для средних учебных заведений издаваемых) подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присвояется наименование «срамных».

По докладу о сем Осла Лев собственнолапно на оном нацарапал так: «О приговоре Истории дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое! — сказал он себе, прочитав резолюцию Льва. — Мало напакостишь — поднимут на смех; много напакостишь — на рогатину подымут... Полно, ехать ли уж?»

Спрашивал он рапортом у Осла: «Ежели-де ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» Но Осел ответил уклончиво: «Все-де нужные по сему предмету указания вы найдете в Лесном уставе». Заглянул он в Лесной устав, но там обо всем говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях — молчок! И затем на все его дальнейшие докуки и настояния Осел отвечал с одинаковою загадочностью: «Действуйте по пристойности!»

— Вот до какого мы времени дожили! — роптал Топтыгин 3-й. — Чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить — не указывают!

И опять мелькнуло у него в голове: полно, ехать ли? и если б не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы!

Прибыл он в трущобу на своих на двоих — очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает: «Даже с зайца шкуру содрать нельзя — и то, пожалуй, за злодейство сочтут! И кто сочтет? добро бы Лев или Осел — это бы куда ни шло! — а то мужики какие-то. Да Историю еще какую-то нашли — вот уж подлинно ис-то-ри-я!!» Хохочет Топтыгин в берлоге, про Историю вспоминаючи, а на сердце у него жутко: чует он, что сам Лев Истории боится... Как тут будешь лесную сволочь подтягивать — и ума приложить не может. Спрашивают с него много, а разбойничать не велят! В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится — стой, погоди! не в свое место заехал! Везде «права» завелись. Даже у белки, и у той нынче права! Дробину тебе в нос — вот какие твои права! У *них* — права, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет — просто пустое место! *Они* друг друга поедом едят, а он задрать никого не смеет! На что похоже! А все Осел! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла ди-

вия быстра соделал? узы ему кто разрешил?» — вот об чем нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» — ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавши его рев, только молвила: «Чу, Мишка ревет! гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин 3-й опять в берлогу...

Но повторяю: он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

Дело в том, что, покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведенный порядок (хотя бы и неблагополучный) от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами «натуральными». Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощипывают, то, хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это все-таки «порядок», — стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что «порядок» не выходит из определенных ему искони границ. Неужели и этих «натуральных» злодейств недостаточно?

В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения — все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому, рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще «под личною вашего степенства ответственностью».

Таким образом, перед умственным взором Топтыгина 3-го вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды в дружеской беседе Осел говорил:

— Об каких это вы всё злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле — это: laissez passer, laissez faire![1] Или, по-русски выражаясь: дурак на дураке сидит и дураком погоняет! Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается, и все у вас будет обстоять благополучно!

Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится.

— Я даже не понимаю, зачем воевод посылают! ведь и без них... — слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль: ничего, ничего, молчание...

С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем все пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники и наконец...

Но тут явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

ВЯЛЕНАЯ ВОБЛА

Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на веревочке на солнце: пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на тре-

[1] Предоставить свободу действий! *(франц.)*

тий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.

И стала вобла жить да поживать[1].

— Как это хорошо, — говорила вяленая вобла, — что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего такого не будет! Все у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!

Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства — об этом, еще живучи на воле, вобла слышала и никогда, признаться, не завидовала тем, которые такими излишками обладали. От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за «лишним» не гналась, в эмпиреях не витала* и неблагонадежных компаний удалялась. Еще где, бывало, заслышит, что пискари об конституциях болтают, — сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же и за всем тем не без страху жила, потому что не ровен час, вдруг... «Мудреное нынче время! — думала она. — Такое мудреное, что и невинный за виноватого как раз сойдет! Начнут это шарить, а ты *около* где-нибудь спряталась, — ан и *около* пошарят! Где была? по какому случаю? каким манером? — господи, спаси и помилуй!» Стало быть, можете себе представить, как она была рада, когда ее изловили и все мысли и чувства у ней выхолостили! «Теперь милости просим! — торжествовала она. — Когда угодно и кто угодно приходи! теперь у меня все доказательства налицо!»

Что именно разумела вяленая вобла под названием «лишних мыслей и чувств» — неизвестно, но что действительно на наших глазах много лишнего завелось — с этим и я не согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что, куда ни обернись, везде какой-то привесок выглядывает. И хоть ты что хочешь, а надобно этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он и не подумал, что его надувают. Все это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется, по-старинному, прямиком пройти, ан прямик буреломом завалило, промоинами исковеркало — ну, и ступай за семь верст киселя есть. Всякий партикулярный человек* нынче эту тягость уж сознает, а какое для начальства

[1] Я знаю, что в натуре этого не бывает, но так как из сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому делу так. (*Прим. автора.*)

от того отягощение, — этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые; да и в штатах-то в самых уж привески завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была: как сел на место в десять часов утра, так и не встает до четырех — все служит! А нынче придет он в час, уж позавтракавши; час папироску курит, час куплеты напевает, а остальное время — так около столов колобродит. И тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело перелистывать: «Посмотрите, какой курьез!» — за другое возьмется: «Гляньте, ведь это — отдай все да и мало!» Наберет курьезов с три короба да к Палкину обедать. А как ты удержишься, чтобы курьезом стен Палкина трактира не огласить! Да ежели, я вам доложу, за каждую канцелярскую нескромность будет каторга обещана, так и тогда от нескромностей не уйти!

Спрашивается: с кем же тут начальству подняться! У всех есть пособники, а у него нет; у всех есть укрыватели, а у него нет! Как тут остановить наплыв «лишнего» в партикулярном мире, когда в своей собственной цитадели, куда ни вскинь глазами, — везде лишнее да неподлежащее так и хлещет через край!

Трудно, ах, как трудно среди этой массы привесков жить! приходится всю дорогу ощупью идти. Думаешь, что настоящее место нашарил, а оказывается, что шарил «около». Бесполезно, бесплодно, жестоко, срамно. Положим, что невелика беда, что невиноватый за виноватого сошел — много их, невиноватых-то этих! сегодня он невиноват, а завтра кто ж его знает? — да вот в чем настоящая беда: подлинного-то виноватого все-таки нет! Стало быть, и опять нащупывать надо, и опять — мимо! В том все время и проходит. Понятно, что даже самые умудренные партикулярные люди (те, которые сальных свечей не едят и стеклом не утираются) — и те стали в тупик! И так как на ежа голым телом никому неохота садиться, то всякий и вопиет: господи! пронеси!

Нет, как хотите, а надо когда-нибудь эти привески счесть да и присмотреться к ним. Узнать: откуда они пришли? зачем? куда пролезть хотят? Не все же нахалом вперед лезут — иное что и полезное сыщется.

Очень, впрочем, возможно, что вобле эти вопросы и на ум совсем не приходили. Однако повторяю: и она вместе с прочими чувствовала, что или от привесков, или по поводу привесков — ей всяческий мат. И только тогда, когда ее на солнце хорошенько провялило и выветрило, когда она убедилась, что

внутри у нее ничего, кроме молок, не осталось, — только тогда она ободрилась и сказала себе: «Ну, теперь мне на все наплевать!»

И точно: теперь она, даже против прежнего, сделалась солиднее и благонадежнее. Мысли у ней — резонные, чувства — никого не задевающие, совести — на медный пятак. Сидит себе с краю и говорит, как пишет. Нищий к ней подойдет — она оглянется, коли есть посторонние — сунет нищему в руку грошик; коли нет никого — кивнет головой: бог подаст! Встретится с кем-нибудь — непременно в разговор вступит; откровенно мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит. Не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь — людей насмешишь, и т. п. А всего больше о том, что уши выше лба не растут.

— Ах, воблушка! как ты скучно на бобах разводишь! точно тебя тошнит! — воскликнет собеседник, ежели он из свеженьких.

— И всем скучно сначала, — стыдливо ответит воблушка. — Сначала — скучно, а потом — хорошо. Вот как поживешь на свете да пошарят *около* тебя вдоволь — тогда и об воблушке вспомнишь, скажешь: спасибо, что уму-разуму учила!

Да нельзя и не сказать спасибо, потому что ежели по правде рассудить, так именно только одна воблушка в настоящую центру попала. Бывают такие обстановочки, когда подлинного ума-разума и слыхом не слыхать, а есть только воблушкин ум-разум. Люди ходят, как сонные, ни к чему приступиться не умеют, ничему не радуются, ничем не печалятся. И вдруг в ушах раздается успокоительно-соблазнительный шепот: «Потихоньку да полегоньку, двух смертей не бывает, одной не миновать...» Это она, это воблушка шепчет! Спасибо тебе, воблушка, правду ты молвила: двух смертей не бывает, а одна искони за плечами ходит!

Не явись на выручку воблушка, одно бы оставалось — пропáсть. Но она не только на убежище указала, целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озорники да курьезы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысли о брешах никому не придет! Вот уж там-то все шито да крыто, там-то уж ни о каких привесках и слыхом не слыхать! Есть захотелось — ешь! спать вздумалось — спи! Ходи, сиди, калякай! К этому-то и привесить-то ничего нельзя. Будь счастлив — только и всего.

И сам будешь счастлив, и те, которые около тебя, — все будете счастливы! Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спите, други, почивайте! И нашаривать около вас не для чего, потому что везде путь торный и все двери настежь. «Вперед без страха и сомненья!»* — или, говоря другими словами, шествуй в надлежащее место!

— И откуда у тебя, воблушка, такая ума палата? — спрашивают ее благодарные пискари, которые, по милости ее советов, неискалеченными остались.

— От рожденья бог меня разумом наградил, — скромно отвечает воблушка, — а сверх того, и во время вяленья мозг у меня в голове выветрился... С тех пор и начала я умом раскидывать...

И действительно: покуда наивные люди в эмпиреях витают, а злецы ядом передовых статей жизнь отравляют, воблушка только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакое человеконенавистничество, никакие змеиные передовые статьи не действуют так воспитательно, как действует скромный воблушкин пример. «Уши выше лба не растут!» — ведь это то самое, о чем древние римляне говорили: respice finem![1] Только более нам ко двору.

Хороша клевета, а человеконенавистничество еще того лучше, но они так сильно в нос бьют, что не всякий простец вместить их может. Все кажется, что одна половина тут наподлена́, а другая — налгана́. А главное, конца-краю не видать. Слушаешь или читаешь и все думаешь: ловко-то ловко, да что же дальше? — а дальше опять клевета, опять яд... Вот это-то и смущает. То ли дело скромная воблушкина резонность? «Ты никого не тронь — и тебя никто не тронет!» — ведь это целая поэма! Тускленька, правда, эта пресловутая резонность, но посмотрите, как цепко она человека нащупывает, как аккуратно его обшлифовывает! Сначала клевета поизмучает, потом хлевный яд одурманит, и когда процесс мучительства завершит свой цикл, когда человек почувствует, что нет во всем его организме места, которое бы не ныло, а в душе нет иного ощущения, кроме безграничной тоски, — вот тогда и выступает воблушка с своими скромными афоризмами. Она бесшумно подкрадывается к искалеченному и безболезненно додурманивает его. И, приведя его к стене, говорит: «Вон сколько каракуль там написано; всю жизнь разбирай — всего не разберешь!»

[1] Смотри конец! *(лат.)*

Смотри на эти каракули и, ежели есть охота — доискивайся их смысла. Тут все в одно место скучено: заветы прошлого и яд настоящего, и загадки будущего. И над всем лег густой слой всякого рода грязи, погадок, вешних потоков и следов непогод. А ежели разбираться в каракулях охоты нет, то тем еще лучше. Верь на слово, что суть этих каракуль может быть выражена в немногих словах: выше лба уши не растут. И за тем — живи.

Все это отлично поняла вяленая вобла, или, лучше сказать, не сама она поняла, а принес ей это понимание тот процесс вяления, сквозь который она прошла. А впоследствии время и обстоятельства усыновили ее и дали широкий простор для применений.

Все поприща поочередно открывались перед ней, и на всяком она службу сослужила. Везде она свое слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что по обстоятельствам лучше не надо.

Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне да на округлении периодов настаивала. «Главное, — твердила она, — чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем действительно сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то воблушка резонно утверждала, что без этого никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожделенная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать.

Забралась вяленая вобла в ряды «излюбленных» — и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели: мы-ста, да вы-ста... повергнуть наши умные мысли к стопам! Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: моя речь еще впереди. И действительно, раз повергли, в другой — повергли, в третий — опять было повергнуть собрались, да концов с концами

свести не могут. Один кричит: мало! другой перекрикивает: много! а третий прямо бунт объявляет: едем, братцы, прямо... так вас и пустили! Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло, и говорит: «Повергать, говорит, мы тогда можем, коли нас спрашивают, а ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание». — «Как так? почему?» — «А потому, говорит, что так исстари заведено: коли спрашивают — повергай! а не спрашивают — сиди и памятуй, что выше лба уши не растут!» И вдруг от этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и дивиться ее уму-разуму.

— Откуда у тебя такая ума палата взялась? — обступили ее со всех сторон. — Ведь кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились!*

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

— Оттого я так умна, что своевременно меня провялили. С тех пор меня точно свет осиял: ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести — ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе и другим твержу: не растут уши выше лба! не растут!

— Правильно! — согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постановили: коли спрашивают — повергать! а не спрашивают — сидеть и получать присвоенное содержание...

Каковое правило соблюдается и доныне.

Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить — и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть наполняет сердца робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судье: проверь самого себя! А ежели у кого совесть вместе с прочей требухой из нутра вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камней полна пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгнувши, на заблуждения человеческие и знай себе камешками пошвыривает. Каждое заблуждение у ней под номером значится и против каждого камешек припасен — тоже под номером. Остается только нелицеприятную бухгалтерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью — полностью искалечь: сам виноват! Ежели следует искалечить в частности — искалечь

частицу: вперед наука! И так она этою своею резонностью всем понравилась, что скоро про совесть никто и вспомнить без смеха не мог...

Но больше всего была богата последствиями доброволь-ческая воблушкина деятельность по распространению здравых мыслей в обществе. С утра до вечера неуставаючи ходила она по градам и весям и все одну песню пела: «Не расти ушам выше лба! не расти!» И не то чтоб с азартом пела, а солидно, рассудительно, так что и рассердиться на нее было не за что. Разве что вгорячах кто крикнет: «Ишь, паскуда, распелась!» — ну, да ведь в деле распространения здравых мыслей без того нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой не обругал...

Вяленая вобла, впрочем, не смущалась этими напутствиями. Она не без основания говорила себе: пускай сначала к голосу моему привыкнут, а затем я своего уж добьюсь...

Надо сказать правду: общество, к которому обращались поучения воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек. Это, положим, и везде так бывает, но в других местах для убежденных людей выдаются изрядные светлые промежутки, а тут они — коротенькие. Извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставить, извольте добиться, чтоб они усвоили себе представление о своем праве на жизнь, да не машинально только усвоили, а с тем, чтобы в случае надобности и защитить это право умели. Утвердительно можно сказать, что эта задача мучительная. А между тем сколько во имя ее погубляется жизней, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и тяжелых дум! И ежели в результате этих усилий блеснет одна-единственная минута радости (вдобавок, мнимой), то это уже награда, которая считается достаточною, чтобы оправдать целые годы последующих отрав...

А кроме того, и время стояло смутное, неверное и жестокое. Убежденные люди надрывались, мучались, метались, вопрошали и вместо ответа видели перед собой запертую дверь. Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время нюхали в воздухе, чем пахнет. Пахло не хорошо; ощущалось присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. Кто-то нас выручит? кто-то подходящее слово скажет? ежемгновенно тосковали пестрые люди и были рады-радёхоньки, когда в ушах их раздались отрезвляющие звуки.

Наступает короткий период задумчивости: пестрые люди

уже решились, но еще стыдятся. Затем пестрая масса начинает мало-помалу волноваться. Больше, больше, и вдруг вопль: «Не растут уши выше лба, не растут!»

Общество отрезвилось. Это зрелище поголовного освобождения от лишних мыслей, лишних чувств и лишней совести до такой степени умилительно, что даже клеветники и человеконенавистники на время умолкают. Они вынуждены сознаться, что простая вобла, с провяленными молоками и выветрившимся мозгом, совершила такие чудеса консерватизма, о которых они и гадать не смели. Одно утешает их: что эти подвиги подъяты воблой под прикрытием их человеконенавистнических воплей. Если б они не взывали к посредничеству ежовых рукавиц, если б не угрожали согнутием в бараний рог, — могла ли бы вобла с успехом вести свою мирно-возродительную пропаганду? Не заклевали ли бы ее? не насмеялись ли бы над нею? И, наконец, не перспектива ли скорпионов и ран, ежеминутно ими, клеветниками, показываемая, повлияла на решение пестрых людей?

Некоторые из клеветников даже устраивали на всякий случай лазейку. Хвалить хвалили, но камень за пазухой все-таки приберегали. «Прекрасно, — говорили они. — Мы с удовольствием допускаем, что общество отрезвилось, что химера упразднена, а на место ее вступила в свои права здоровая, неподкрашенная жизнь. Но надолго ли? но прочно ли наше отрезвление — вот вопрос. В этом смысле мирный характер, который ознаменовал процесс нашего возрождения, наводит на очень серьезные мысли. До сих пор мы знали, что заблуждения не так-то легко полагают оружие даже перед очевидностью совершившихся фактов, а тут вдруг, нежданно-негаданно благодаря авторитету пословицы, — положим, благонамеренной и освященной вековым опытом, но все-таки не более как пословицы, — является радикальное и повсеместное отрезвление! Полно, так ли это? искренне ли состоявшееся на наших глазах обращение? не представляет ли оно искусного компромисса или временного modus vivendi[1], допущенного для отвода глаз? И нет ли в самых приемах, которыми сопровождалось возрождение, признаков того легковесного либерализма, который, избегая такие испытанные средства, как ежовые рукавицы, мечтает кроткими мерами разогнать тяготеющую над нами хмару? Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше есть не что иное, как разношерст-

[1] Поведения (*лат.*).

ный и бесхарактерный агломерат* всевозможных веяний и наслоений, и что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь тогда, когда разнообразные элементы, его составляющие, предварительно приведены к одному знаменателю?»

Как бы то ни было, но настоящий, здоровый тон был найден. Сперва его в салонах усвоили; потом он в трактиры проник, потом... Дамочки радовались и говорили: теперь у нас балы начнутся. Гостинодворцы развертывали материи и ожидали оживления промышленности.

Оставалось одно: отыскать настоящее, здоровое «дело», к которому можно было бы «здоровый» тон применить.

Однако тут совершилось нечто необыкновенное. Оказалось, что до сих пор у всех на уме были только ежовые рукавицы, а об деле так мало думали, что никто даже по имени не мог его назвать. Все говорят охотно: надо дело делать, но какое — не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает: «Не растут уши выше лба! не растут!»

— Помилуй, воблушка! да ведь это только «тон», а не «дело», — возражают ей. — Дело-то какое нам предстоит, скажи!

Но она заладила одно и ни пяди уступить не согласна! Так ни от кого насчет дела ничего и не узнали.

Но, кроме того, тут же сбоку выскочил и другой вопрос: а что, если настоящее дело наконец и откроется — кто же его делать-то будет?

— Вы, Иван Иваныч, будете дело делать?

— Где мне, Иван Никифорыч! Моя изба с краю... вот разве вы...

— Что вы! что вы! да разве я об двух головах! ведь я, батюшка, не забыл...

И таким образом все. У одного — изба с краю, другой — не об двух головах, третий — чего-то не забыл... все глядят, как бы в подворотню проскочить, у всех сердце не на месте и руки — как плети...

«Уши выше лба не растут» — хорошо это сказано, сильно, а дальше что? На стене каракули-то читать? — положим, и это хорошо, а дальше что? Не шевельнуться, не пикнуть, носа не совать, не рассуждать? — прекрасно и это, а дальше что?

И чем старательнее выводились логические последствия, вытекающие из воблушкиной доктрины, тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос: а дальше что?

Ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человеконенавистники.

«Само по себе взятое, — говорили и писали они, — учение, известное под именем доктрины вяленой воблы, не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадежным. Но дело не в доктрине и ее положениях, а в тех приемах, которые употреблялись для ее осуществления и насчет которых мы с самого начала предостерегали тех, кому ведать о сем надлежит. Приемы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе клеймо того же паскудного либеральничанья, которое уже столько раз приводило нас на край бездны. Так что ежели мы еще не находимся на дне оной, то именно только благодаря здравому смыслу, искони лежавшему в основании нашей жизни. Пускай же этот здравый смысл и теперь сослужит нам свою обычную службу. Пусть подскажет он всем, серьезно понимающим интересы своего отечества, что единственный целесообразный прием, при помощи которого мы можем прийти к какому-нибудь результату, представляют ежовые рукавицы. Об этом напоминают нам предания прошлого; о том же свидетельствует смута настоящего. Этой смуты не было бы и в помине, если б наши предостережения были своевременно выслушаны и приняты во внимание. «Caveant consules!»[1] — повторяем мы и при этом прибавляем для не знающих по-латыни, что в русском переводе выражение это значит: «Не зевай!»

Таким образом, оказалось, что хоть и провялили воблу, и внутренности у нее вычистили, и мозг выветрили, а все-таки в конце концов ей пришлось распоясываться. Из торжествующей она превратилась в заподозренную, из благонамеренной — в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадежнее была мысль, составлявшая основание ее пропаганды.

И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал...

Пестрые люди смотрели на это зрелище, плескали руками и вопили: «Да здравствуют ежовые рукавицы!» Но История взглянула на дело иначе и втайне положила в сердце своем: годиков через сто я непременно все это тисну!

---

[1] «Пусть будут бдительны консулы!» *(лат.)*

ОРЕЛ-МЕЦЕНАТ

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И статьи у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно сравнивают его с орлом. Подобно орлу, говорят, городовой бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав, простил.

Я сам очень долго этим панегирикам* верил. Думал: ведь в самом деле красиво! Выхватил... простил! простил?! — вот что в особенности пленяло. Кого простил? — мышь!! Что такое мышь?! И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, а затем его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осенила мысль: с чего же, однако, орел «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и... простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?

Дальше — больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он — птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городового может быть лестно только по недоразумению. И теперь я думаю об орлах так: орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они в то же время сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что при появлении их все пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют.

Выискался, однако ж, орел, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

— Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце — инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи. Воро́ны бы сплетни ему переносили, попугаи кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

— Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало; она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и всё.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму ворон. Нагнали, записали в ревизские сказки* и выдали окладные листы*. Ворона — птица плодущая и на все согласная. Главным же образом тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать.

Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что бы такое было, и наконец догадались: во всех дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех, ни других.

Три птицы в особенности считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать без предварительной цензуры газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не

мог. То чего-нибудь коснется — ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется — ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку тук да тук. Вот он и замыслил: пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запоем, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем баба-яга», «Каким по́лом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал: пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять... Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать...

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: доложи да доложи!

Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе, да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянцем на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни бабой-ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слыхал: что эта птица малая, не стоит из-за нее клюв марать.

— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? — спросил сокол.

— Какой такой Бонапарт?

— То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо́ гости приедут, разговаривать будут. Скажут: при Бонапарте это было, а ты будешь глазами хлопать. Не хорошо.

Призвали на совет сову, — и та подтвердила, что надо

науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье — свет, а неученье — тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» — ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали — значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведерко с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!

— Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: ловок орел, а простофиля.

— Что ж, я не прочь от наук! — цыркнул орел.

Сказано — сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают»*, коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи новые кунштюки* выдумывали. С ворон определили новый налог, под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей — академию де сиянс[1], да кстати уж и воронятам купили по экземпляру азбуки-копейки. И в заключение самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб назавтра же был готов к состязанию с соловьем.

И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил: имянно! Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил: имянно! Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орел подтвердил: имянно! Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, а орел подтвердил: имянно!

Наконец снегирь надоел.

— Следующий! — цыркнул орел.

Дятел начал с того, что генеалогию* орла от солнца повел, а орел с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде

[1] Академию наук (*франц. académie des sciences*).

от папеньки слышал». — «Было у солнца, — говорил дятел, — трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел. Акула была распутная — ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся — его отец владыкою над пустыней сделал; а Орёлко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил — воздушные пространства ему во владенье отвел».

Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпенье кричал:

— Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что бог послал ему помешика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орел, да и шабаш!

— Что этот дуралей бормочет! — крикнул он наконец. — Позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: «Имянно! имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в куролеску* и продали в Зарядье, в трактир «Расставанье друзей», где и о сю пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения все-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководительство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и

через год вместо «Орел» подписывался «Арёл», так что ни один солидный заимодавец векселей с такою подписью не принимал. Но еще бо́льшая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: бб... зз... хх..., а сокол, тоже ежеминутно, внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

— Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел — сколько в запасе осталось? — с укоризною спрашивал сокол.

Орел не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат!», а орлица начала орла дразнить: «Ученый! ученый!», затем общими силами возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: вв... зз... рррр...

— Уйди, постылая! — кротко огрызнулся орел.

— Извольте, ваше степенство, повторить: бб... кк... мм...

— Второй раз говорю: уйди!

— Пп... хх... шш...

В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое.

А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

— Вот тебе задача, — сказал он, — награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну — тебе, другую — всем прочим челядинцам, — сколько на твою долю достанется?

— Всё, — отвечал орел.

— Ты говори дело, — возразил сокол. — Ежели бы «всё», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «всё», а холоп осмеливается возражать: «не все». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то о́ни педагогические приемы от крамолы отличать не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился:



— А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юиошей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» иаходится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смутою.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего «золотого века» не осталось и следов. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без про́сыпу, а на воро́нах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую.

Чтоб оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовремеииы. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживем...

И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища...

— Шабаш! — вдруг раздалось в вышиие.

Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое.

Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

— Знаки препинания ставить умеешь?

— Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как-то: кавычки, тире, скобки — всегда, по сущей совести, становлю.

— А женский пол от мужского отличить можешь?

— Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, по́мре.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твердо: жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увертки их опровергнул, спросив: да сиянсы-то зачем? И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

В это же самое время отобрали у воронят Азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из полученной массы наделали игральных карт.

Дальше — больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи... Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днем молчит, а ночью спит...

Дворня опустела. Остались орел с орлицею и при них ястреб да коршун. А вдали — масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше накоплялось на нем недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (воронье в счет не полагалось), стали изводить друг друга. И все на почве наук. Ястреб донес, что коршун по секрету читает часослов, а коршун съябедничал, что у ястреба в дупле «новейший песенник» спрятан.

Орел смутился...

Но тут уж сама История ускорила свое течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, воро́ны вдруг спохватились: а что, бишь, на этот счет в Азбуке-копейке сказано? И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

— Сие да послужит орлам уроком!

Но что означало в данном случае слово «урок», то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе, — об этом он умолчал.

КАРАСЬ-ИДЕАЛИСТ

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ерш под выражением «слукавить» — неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

— Вот ужо увидишь!

Карась — рыба смирная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит она больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей по преимуществу сетью или неводом; но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, — не знаю; знаю только, что, однажды сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи раз-

говаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирал карась.

— Не верю, — говорил он, — чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!

— Дожидайся! — иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и неспокойно. Это рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у ней на сердце... ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития, она повсюду распрю видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь! — отзывался карась. — И не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне благодаря новейшим исследованиям можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?

— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: на то щука в море, чтоб карась не дремал, то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет, — разглагольствовал карась. — Зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман»! разве это ответ?

— Да тебе по-настоящему и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!

— Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущею силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ерш.

— Не посрамлены еще, но будут посрамлены, — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем, а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, сказывают, во время багрения, вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы, да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

— А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху? — удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь: что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь... заколю!

Ерш ощетинивался, а карась быстро, насколько позволя-

ла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

— Намеднись в нашу заводь щука заглядывала, — объявлял ерш.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?.. И с этим уплыла.

— Что же мне теперича делать?

— Изготовляться — только и всего. Ужо, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!

— Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...

— Глуп ты — вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!

— Не может такого закона быть! — искренно возмущался карась. — И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.

— Вот кабы все рыбы между собой согласились... — загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чем это фофан речь заводит? — думалось ему. — Того гляди, проврется, а тут голавель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай прислушивается».

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! — убеждал он карася. — Не для чего пасть-то разевать; можно и шепотком что нужно сказать.

— Не хочу я шептаться, — продолжал карась невозмутимо, — а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! — кричал он на карася и, навостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не продаст, — в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя об ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того гляди, не понимаючи, сболтнет! А об голавлях, язях, линях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!

— Посмотри ты на себя, — говорил он карасю, — ну, какую ты, не ровён час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот — чутошный. Даже чешуя на тебе — и та не серьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости, — как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

— Да за что же меня есть, коли я не провинился? — по-прежнему упорствовал карась.

— Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется, — только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: вот кабы все рыбы между собой согласились... А что, если бы ракушки между собой согласились, — сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

— Но ракушки — ведь это... — пробормотал он смущенно.

— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а и те и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.

Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были, — это ты правду сказал, — объяснил он ершу, — а потому я их

ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну, а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, — так с этаким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтобы он серьезную пакость сделал, — ну, тогда, конечно...

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй, скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! да ведь намеднись, на глазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил... Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями сталось: и́но их съели, и́но в сажалку посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорвиголова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами ни задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.

— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторствовал он. — Чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ерш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своем карась. — Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А ну-тка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю?

— Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права сознáем, когда нас с малых лет в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Все-таки...

— То-то «все-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще...

— Например?

— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!

— А он тебя за грубость на сковороду либо в золу в горячую... Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопьи чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился, где погуще, и молчи, остолоп!

Или еще:

— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил наяву карась. — Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И всё это добро, всё на потребу.

— А для щук на потребу караси, — отрезвлял его ерш.

— Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особливый закон в видах обеспечения его личности издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение распубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему — ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечт

что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему голавель с повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!

Карась, однако ж, не оробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет да и скажет: за то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этой заводью; будь ты над нею начальник!

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплеток ни наплели, а она — рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

— Слышала я, — молвила щука, — что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

— Об счастии я больше думаю, — скромно, но с достоинством ответил карась. — Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

— Гм... и ты думаешь, что такому делу статься возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Например: плыву я, а рядом со мною... карась?

— Так что же такое?

— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карасято... съем?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат

для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели... Но не рыбы.

— Маловато для меня. Голавель! неужто такой закон есть? — обратилась щука к голавлю.

— В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся голавель.

— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

— А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловчее — ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по моим скромным способностям и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то еще где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придется!

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что: так значит, по-твоему, и я работать буду должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу. Поди проспись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него во всяком случае не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану и ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов...

— Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Голавель! как по-нынешнему такие речи называются?

— Сицилизмом, ваше высокостепенство!

— Так я и знала. Давненько я уж слышу: бунтовские, мол, речи карась говорит! Только думаю: дай лучше сама послушаю... Ан вот ты каков!



Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего, — пробормотал он в смущении, — это я по простоте.

— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты карась как карась, — только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили голавли и взяли под караул.

Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

— Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновенье остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!

ВЕРНЫЙ ТРЕЗОР

Служил Трезорка сторожем при лабазе московского 2-й гильдии купца Воротилова и недреманным оком хозяйское добро сторожил. Никогда от конуры не отлучался; даже Живодерки, на которой лабаз стоял, настоящим образом не видал; с утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливается! Caveant consules![1]

И премудрый был, никогда на своих не лаял, а все на чужих. Пройдет, бывало, хозяйский кучер овес воровать, — Трезорка хвостом машет, думает: много ли кучеру нужно! А случится прохожему по своему делу мимо двора идти — Трезорка еще где заслышит: ах, батюшки, воры!

Видел купец Воротилов Трезоркину услугу и говорил: «Цены этому псу нет!» И ежели случалось в лабаз мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет: «Дайте Трезорке помоев!» А Трезорка из кожи от восторга лезет: «Рады стараться, ваше степенство!.. хам-ам! Почивайте, ваше степенство, спокойно... хам... ам... ам... ам!»

Однажды даже такой случай был: сам частный пристав к купцу Воротилову на двор пожаловал — так и на него Трезорка вóззрился. Такой содом поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети — все выбежали. Думали, грабят; смотрят — ан гость дорогой!

— Вашескородие! милости просим! Цыц, Трезорка! Ты это что, мерзавец? Не узнал? А? Вашескородие, водочки! Закусить-с.

— Благодарю. Прекраснейший у вас пёсик, Никанор Семеныч! благонамеренный!

— Такой пес! такой пес! Другому человеку так не понять, как он понимает!

— Собственность, значит, признает; а это, по нынешнему времени, ах как приятно!

И затем, обернувшись к Трезорке, присовокупил:

— Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет, — и тот попёсьему лаять обязывается!

Три раза Воротилов Трезорку искушал, прежде чем вполне свое имущество доверил ему. Нарядился вором (удивительно, как к нему этот костюм шел!), выбрал ночь потемнее и пошел в амбар воровать. В первый раз корочку хлебца с со-

[1] Пусть будут бдительны консулы! *(лат.)*

бой взял, — думал этим его соблазнить, — а Трезорка корочку обнюхал да как вцепится ему в икру! Во второй раз целую колбасу Трезорке бросил: «Пиль, Трезорушка, пиль!» — а Трезорка ему фалду оторвал. В третий раз взял с собой рублевую бумажку замасленную — думал, на деньги пес пойдет; а Трезорка, не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались: стоят да дивуются, с чего это хозяйский пес на своего хозяина заливается?

Тогда купец Воротилов собрал домочадцев и при всех сказал Трезорке:

— Препоручаю тебе, Трезорка, все мои потроха: и жену, и детей, и имущество — стереги! Принесите Трезорке помоев!

Понял ли Трезорка хозяйскую похвалу, или уж сам собой, в силу собачьей природы, лай из него, словно из пустой бочки, валил — только совсем он с тех пор иссобачился. Одним глазом спит, а другим глядит, не лезет ли кто в подворотню; скакать устанет — ляжет, а цепью все-таки погромыхивает: вот он я! Накормить его позабудут — он даже очень рад: ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, так он, чего доброго, в одну неделю разопсеет! Пинками его челядинцы наделят — он и в этом полезное предостережение видит, потому что, ежели пса не бить, он и хозяина, того гляди, позабудет.

— Надо с нами, со псами, сурьезно поступать, — рассуждал он, — и за дело бей, и без дела бей — вперед наука! Тогда только мы, псы, настоящими псами будем!

Одним словом, был пес с принципами и так высоко держал свое знамя, что прочие псы поглядят-поглядят да и подожмут хвост — куды тебе!

Уж на что Трезорка детей любил, однако и на их искушения не сдавался. Подойдут к нему хозяйские дети:

— Пойдем, Трезорушка, с нами гулять!

— Не могу.

— Не смеешь?

— Не то что не смею, а права не имею.

— Пойдем, глупый! мы тебя потихоньку... никто и не увидит!

— А совесть?

Подожмет Трезорка хвост и спрячется в конуру, от соблазна подальше.

Сколько раз и воры сговаривались: поднесемте Трезорке альбом с видами Замоскворечья; но он и на это не польстился.

— Не требуется мне никаких видов, сказал он, — на

этом дворе я родился, на нем же и старые кости сложу — каких еще видов нужно! Уйдите до греха!

Одна за Трезоркой слабость была: Кутьку крепко любил, но и то не всегда, а временно.

Кутька на том же дворе жила и тоже была собака добрая, но только без принципов. Полает и перестанет. Поэтому ее на цепи не держали, а жила она больше при хозяйской кухне и около хозяйских детей вертелась. Много она на своем веку сладких кусков съела и никогда с Трезоркой не поделилась; но Трезорка нимало за это на нее не претендовал: на то она и дама, чтобы сладенько поесть! Но когда Кутькино сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой в кухонную дверь. Заслышав эти тихие всхлипыванья, Трезорка, с своей стороны, поднимал такой неистовый и, так сказать, характерный вой, что хозяин, понимая его значение, сам спешил на выручку своего имущества. Трезорку спускали с цепи и на место его сажали дворника Никиту. А Трезорка с Кутькой, взволнованные, счастливые, убегали к Серпуховским воротам.

В эти дни купец Воротилов делался зол, так что когда Трезорка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арапником нещадно. И Трезорка, очевидно, сознавал свою вину, потому что не подбегал к хозяину гоголем, как это делают исполнившие свой долг чиновники, а униженно и поджавши хвост подползал к ногам его; и не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал: mea culpa! mea maxima culpa![1] В сущности он был слишком умен, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из вида некоторые смягчающие обстоятельства; но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что ежели его в таких случаях не бить, то непременно он разопсеет.

Но что было особенно в Трезорке дорого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно, имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Никаноры ли («сам» именинник), Анфисы ли («сама» именинница) на дворе — он, все равно что в будни, на цепи скачет!

— Да замолчи ты, постылый! — крикнет на него Анфиса Карповна. — Знаешь ли, какой сегодня день!

— Ничего, пусть лает! — пошутит в ответ Никанор Семеныч. — Это он с ангелом поздравляет! Лай, Трезорушка, лай!

[1] Мой грех! мой тягчайший грех! *(лат.)*

Только раз в нем проснулось что-то вроде честолюбия — это когда бодливой хозяйской корове Рохле по требованию городского пастуха колокол на шею привесили. Признаться сказать, позавидовал-таки он, когда она пошла по двору звонить.

— Вот тебе счастье какое, а за что? — сказал он Рохле с горечью. — Только твоей и заслуги, что молока полведра в день из тебя надоят, а по-настоящему, какая же это заслуга! Молоко у тебя даровое, от тебя не зависящее: хорошо тебя кормят — ты много молока даешь; плохо кормят — и молоко перестанешь давать. Копыта об копыто ты не ударишь, чтоб хозяину заслужить, а вот тебя как награждают! А я вот сам от себя, motu proprio[1], день и ночь маюсь, недоем, недосплю, инда осип от беспокойства, — а мне хоть бы гремушку кинули! Вот, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видят!

— А цепь-то? — нашлась Рохля в ответ.

— Цепь?!

Тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак*. Что он, стало быть, награжден уже изначала, награжден еще в то время, когда ничего не заслужил. И что отныне ему следует только об одном мечтать: чтоб старую, проржавленную цепь (он ее однажды уже порвал) сняли и купили бы новую, крепкую.

А купец Воротилов точно подслушал его скромно-честолюбивое вожделение: под самый Трезоркин праздник купил совсем новую, на диво выкованную цепь и сюрпризом приклепал ее к Трезоркину ошейнику. Лай, Трезорка, лай!

И залился он тем добродушным, заливистым лаем, каким лают псы, не отделяющие своего собачьего благополучия от неприкосновенности амбара, к которому определила их хозяйская рука.

В общем, Трезорке жилось отлично, хотя, конечно, от времени до времени не обходилось и без огорчений. В мире псов, точно так же как и в мире людей, лесть, пронырство и зависть нередко играют роль, вовсе им по праву не принадлежащую. Не раз приходилось и Трезорке испытывать уколы зависти; но он был силен сознанием исполненного долга и ничего не боялся. И это вовсе не было с его стороны самомнением. Напротив, он первый готов был бы уступить честь и место любому новоявленному барбосу, который доказал бы свое первенство в деле непреоборимости. Нередко он даже с тревогою

[1] По собственному побуждению (*лат.*).



подумывал о том, кто заступит его место в ту минуту, когда старость или смерть положит предел его нестомчивости... Но увы! во всей громадной стае измельчавших и излаявшихся псов, населявших Живодерку, он, по совести, не находил ни одного, на которого мог бы с уверенностью указать: вот мой преемник! Так что когда интрига задумала во что бы то ни стало уронить Трезорку в мнении купца Воротилова, то она достигла только одного — и притом совершенно для нее нежелательного — результата, а именно: высказала повальное оскудение псовых талантов.

Не раз завистливые барбосы и в одиночку, и небольшими стайками собирались во двор купца Воротилова, садились поодаль и вызывали Трезорку на состязание. Поднимался несосветимый собачий стон, который наводил ужас на всех домочадцев, но к которому хозяин дома прислушивался с любопытством, потому что понимал, что близко время, когда и Трезору понадобится подручный. В этом неистовом хоре выдавались голоса недурные; но такого, от которого внезапно заболел бы живот со страху, не было и в помине. Иной барбос выказывал недюжинные способности, но непременно или перелает, или недолает. Во время таких состязаний Трезорка обыкновенно умолкал, как бы давая противникам возможность высказаться, но под конец не выдерживал и к общему стону, каждая нота которого свидетельствовала об искусственном напряжении, присоединял свой собственный свободный и трезвенный лай. Этот лай сразу устранял все сомнения. Заслышав его, кухарка выбегала из стряпущей и ошпаривала коноводов интриги кипятком. А Трезорке приносила помоев.

Тем не менее купец Воротилов был прав, утверждая, что ничто под луною не вечно. Однажды утром воротиловский приказчик, проходя мимо собачьей конуры в амбар, застал Трезорку спящим. Никогда этого с ним не бывало. Спал ли он когда-нибудь — вероятно, спал, — никто этого не знал, и во всяком случае никто его спящим не заставал. Разумеется, приказчик не замедлил доложить об этом казусе хозяину.

Купец Воротилов сам вышел к Трезорке, взглянул на него и, видя, что он повинно шевелит хвостом, как бы говоря: «И сам не понимаю, как со мной грех случился!» — без гнева, полным участия голосом сказал:

— Что, старик, на кухню собрался? Стара стала, слаба стала? Ну ладно! ты на кухне службу сослужить можешь.

На первый раз, однако ж, решились ограничиться приисканием Трезорке подручного. Задача была нелегкая; тем не менее после значительных хлопот успели-таки отыскать у Калужских ворот некоего Арапку, репутация которого установилась уже довольно прочно.

Я не стану описывать, как Арапка первый признал авторитет Трезорки и беспрекословно ему подчинился, как оба они подружились, как Трезорку с течением времени окончательно перевели на кухню и как, несмотря на это, он бегал к Арапке и бескорыстно обучал его приемам подлинного купеческого пса... Скажу только одно: ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость Кутьки не заставили Трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил, сидючи на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи.

Время, однако ж, шло, и Трезорка все больше и больше старелся. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги; глаза почти не видели; уши висели неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетит исчез, а постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса жаться к печке.

— Воля ваша, Никанор Семеныч, а Трезорка начал паршиветь, — доложила однажды купцу Воротилову кухарка.

На этот раз, однако, купец Воротилов не сказал ни слова. Тем не менее кухарка не унялась и через неделю опять доложила:

— Как бы дети около Трезорки не испортились... Опаршивел он вовсе.

Но и на этот раз Воротилов промолчал. Тогда кухарка через два дня вбежала уже совсем обозленная и объявила, что она ни минуты не останется, ежели Трезорку из кухни не уберут. И так как кухарка мастерски готовила поросенка с кашей, а Воротилов безумно это блюдо любил, то участь Трезоркина была решена.

— Не к тому я Трезорку готовил, — сказал купец Воротилов с чувством, — да, видно, правду пословица говорит: собаке — собачья и смерть... Утопить Трезорку!

И вот вывели Трезорку на двор. Вся челядь высыпала, чтоб посмотреть на предсмертную агонию верного пса; даже хозяйские дети окно обсыпали. Арапка был тут же и, увидев старого учителя, приветливо замахал хвостом. Трезорка от старости еле передвигал ногами и, по-видимому, не понимал; но когда начал приближаться к воротам, то силы оставили его и надо было его тащить волоком за загривок.

Что затем произошло — об этом история умалчивает, но назад Трезорка уж не возвратился.

А вскоре Арапка и совсем изгнал Трезоркин образ из сердца купца Воротилова.

НЕДРЕМАННОЕ ОКО

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Прокурор, и было у него два ока: одно — дреманное, а другое — недреманное. Дреманным оком он ровно ничего не видел, а недреманным видел пустяки.

В этом царстве исстари так было заведено: как только у обывателя родится мальчик с двумя оками, дреманным и недреманным, так тотчас в ревизских сказках записывают: у обывателя Куралеса Проказникова, на Болоте, уродился мальчишечка, по имени Прокурор. И потом ожидают, когда мальчишечка в совершенные лета придет.

Так было и тут. Не успел мальчишечка от земли вырасти, как ему сейчас же доложили:

— Пожалуйте!

— С удовольствием. Но в скором ли времени предвидится сенаторская вакансия?

— Ах, сделайте милость! Как скоро, так сейчас.

— То-то.

Приосанился мальчишечка, посмотрелся в зеркало, видит: какой такой оттуда хитрец выглядывает? — ан это он самый и есть. Ладно. И, не говоря худого слова, сейчас же за дело принялся: дреманным оком ничего не видит, а недреманным видит пустяки. «Я, говорит, здесь на минутку, по дороге в сенат, а там и оба ока сомкну. Да и уши у меня, бог даст, к тому времени заложит».

Увидели мздоимцы, клеветники, душегубы, хищники и воры, что мальчишечка на них недреманным оком смотрит, и сейчас же испугались. Думали-думали, как с этим делом быть, и решили всем с недреманной стороны уйти и укрыться под сенью дреманного прокурорского ока. И сделалось с недреманной стороны так чисто, как будто ни лиходеев, ни воров, ни душегубов отроду никогда не бывало, а были и есть только обыкновенные лгуны, проходимцы, предатели, изменники и ханжи, до которых прокурору, собственно говоря, и дела нет. А мальчишечка видит, что от одного его недреманного взгляда такие чистые горизонты открылись, и ра-

дуется. Неужто, думает, начальство усердия его во внимание не примет?

И пошел он по судебно-административному полю гоголем похаживать. Ходит да посвистывает: «Берегись! В ложке воды утоплю!»

Только видит: стоит человек и криком кричит: «Ограбили! батюшки, караул!» Разумеется, он — к ограбленному.

— Что ты, такой-сякой, на всю улицу зеваешь! вот я тебя!

— Помилуйте, Прокурор Куралесыч, воры!

— Где воры? какие воры? Врешь ты: никаких воров нет и не бывало (а они у него под ноздрею с дреманной стороны притаились)! Это вы нарочно, бездельники, незаслуживающими внимания жалобами начальство затруднить хотите... взять его под арест!

Идет дальше, слышит: «Мздоимцы, Прокурор Куралесыч, одолели! мздоимцы! лихоимцы! кривотолки! прелюбодеи!»

— Где мздоимцы? какие лихоимцы? никаких я мздоимцев не вижу! Это вы нарочно, такие-сякие, кричите, чтобы авторитеты подрывать... взять его под арест!

Еще дальше идет; слышит: «Добро казенное и общественное врозь тащат! чего вы, Прокурор Куралесыч, смотрите! вон они, хищники-то, вон!»

— Где хищники? кто казенное добро тащит?

— Вон хищники! вон они! Вон он какой домино на краденые деньги взбодрил! а тот вон — ишь сколько тысяч десятин земли у казны украл!

— Врешь ты, такой-сякой! Это не хищники, а собственники! Они своим имуществом спокойно владеют, и все документы у них налицо. Это вы нарочно, бездельники, кричите, чтобы принцип собственности подрывать! Взять его под арест!

Дальше — больше. «Жена мужу жизнь с утра до вечера точит!», «Муж жену в гроб, того гляди, заколотит!»— «Ни за чем вы, Прокурор Куралесыч, не смотрите!»

— Я-то не смотрю? А ты видел ли, какое у меня око? Одно оно у меня; но — ах, как далеко я им вижу! Так далеко, что и твою, бездельникову, душу насквозь понимаю! И знаю, чего вам, негодникам, хочется: семейный союз вам хочется подорвать! Взять его под арест!

Словом сказать, все союзы перебрал и везде нашел: сами по себе стоят союзы незыблемо, но крикунишки непременно им как пить дадут, ежели им своевременно уста не замазать. А когда до государственного союза мальчишечка дошел, то и разговаривать не стал. Кричит как озаренный: «Взять его!

связать его! замуровать! законопатить!» Сам кричит, а недреманное око так у него колесом и вертится в глазнице.

День-деньской таким манером мальчишечка мается, союзы оберегает, а к вечеру домой отдыхать вернется. Ляжет на кровать и думает: «Все-то я в полной мере, как хочется начальству, выполнил! хищников, мздоимцев, распутников и злоупотребителей с помощью одного моего недреманного ока рассеял, а с подрывателями, кои не дельными жалобами начальство утруждают, особливо распорядился! Чисто, благородно. Надеюсь, что и начальство, с своей стороны, мои труды в надлежащей мере оценит».

— Чего, бишь, мне, например, пожелать? — говорил он сам себе. — В сенат ежели — так я еще на одно ухо слышу, да сенат от меня не уйдет... Вот кабы — хоть не теперь, а со временем — вот кабы в... да нет, это уж разве когда и обоняние я потеряю! Нет, вот сейчас, в ближайшем будущем, чего бы мне, например, пожелать?

Расстраивал-расстраивал себе воображение, да, наконец, и расстроил. «Жениться надо как можно скорее — вот что!»

И так как он для поисков невесты недреманное око в ход пустил, то, разумеется, сейчас же нашел. А именно: девицу Агриппину такой красоты, что ни в сказках сказать, ни пером описать. И при ней двести тысяч: точь-в-точь как при билете внутреннего с выигрышами займа полагается.

Женился. Отпраздновали свадьбу на славу в кухмистерской Завитаева и домой на новоселье приехали. Только смотрит мальчишечка, а новобрачная с чего-то под сень дреманного ока спряталась. Хвать-похвать: Ариппина! где ты?

— Не Агриппина я, но Агафья. И тезоименитство мое бывает пятого февраля.

Вот так штука! Даже побледнел мальчишечка с испугу: неужто в прохождение его службы чертовщина вмешалась?

— Покажись... Агафья! — вымолвил он.

Смотрит: и у Агафьи, как у него, одно око дреманное, а другое — недреманное. Только у него недреманное око с правой стороны, а у нее — с левой. Точно им сама судьба определила совместно прокурорское служение проходить.

— Приданое-то у тебя есть ли?

— И приданого у меня нет. Одно недреманное око — только и всего.

Ах, прах побери, да и совсем! Была-была Агриппина и вдруг Агафья сделалась! Стал он разыскивать, каким манером такое дело случиться могло, и оказалось, что очень про-

сто. Покуда он недреманным оком в одну сторону стрелял, Агриппина на минуточку отлучилась да и вышла замуж за офицера. А он за себя взял... Агафью!

Делать, однако, нечего. Недаром же Завитаеву деньги за свадьбу отданы — надо как-нибудь жить. Легли они спать, да не остереглись: смотрят друг на дружку недреманными оками — инда жутко ему стало! Ему-то жутко, а ей точно с гуся вода — даже приятно!

— Ведьма ты, что ли? — спросил он ее. — Сказывай!

— Нет, я не ведьма, но твоя законная жена. А до сих пор я крадеными старыми носками на Апраксином торговала.

— Как «крадеными»? каким же образом я тебя не изловил?

— Разве ты можешь кого-нибудь изловить? Ты все в одну сторону оком стреляешь, а что у тебя под левой ноздрей делается — не видишь.

— Ну, давай вместе воров ловить, коли так. Я — справа, ты — слева.

Словом сказать, так отлично устроились, что через год у них сын родился, и тоже с недреманным оком.

— Вот так чудак! — воскликнул мальчишечка, взглянув на своего первенца.

Тут только он догадался, что как ни дорого недреманное око, а два обыкновенных глаза, пожалуй, еще того дороже.

Служба его между тем своим чередом прохождение имела. Постепенно он все тюрьмы крикунами наполнил, а хищники, мздоимцы, концессионеры и прочие подлинные потрясатели тем временем у него под сенью дреманного ока благодушествовали.

Долго ли, коротко ли так шло, только начал он со временем и на оба уха припадать. Даже недреманное око и то постепенно слипаться стало. Самое время, значит, в сенат поспешать, покуда обоняния еще не утратил.

Слышит... зовут!

Надел он фуфайку фланелевую, носки шерстяные да сапоги валяные на ноги натянул; уши канатом законопатил, камфарным маслом надушился, в шубу закутался, а Агафья сверх шубы шерстяным шарфом его повязала. И пошел в сенат. Идет и думает: какой такой сон на первый раз он, сидючи в сенате, увидит?

Но тут случилось нечто совсем неожиданное. Покуда он недреманным оком все вправо да вправо стрелял, а сенат взял полевее да с дреманной стороны и притаился. Ищет

Прокурор Куралесыч — и носом в воздухе потянет, и языком щелкнет, и даже руками кругом пошарит, — никак-таки нащупать сената не может.

Наконец видит: городовой на посту бодрствует. Натурально — к нему. Так и так, служивый: не знаешь ли, куда девался сенат?

Взглянул на него городовой и сразу недреманную душу его разгадал.

— Знаю, — сказал он, — сенат, вот он! Вон он на солнышке играет! Ишь посматривает, как бы какой шалун на закон не наступил... Ах ты, ах! Только не про всякого у нас место в сенате припасено. Ты вот глядел недреманным-то оком в книгу, а видел фигу, так нынче этаких в здешнее место сажать не велено. Воротись лучше, калека, домой, валенки-то сними, глаза-то протри, уши промой да и ложись с бабой на печь спать!.. А у нас нынче так в здешнем месте заведено: чтобы и голова, и прочие члены — всё чтобы на своем месте было, а глаза и уши — у всех чтобы настежь!

Так и не попал Прокурор Куралесыч в сенат.

СОСЕДИ

В некотором селе жили два соседа: Иван Богатый да Иван Бедный. Богатого величали «сударем» и «Семенычем», а бедного — просто Иваном, а иногда и Ивашкой. Оба были хорошие люди, а Иван Богатый — даже отличный. Как есть во всей форме филантроп. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил. «Это, говорит, с моей стороны лепта. Другой, говорит, и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно — это уж свинство. А я еще ничего». А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но взамен того производил ценности. И тоже говорил: это с моей стороны лепта.

Сойдутся они вечером под праздник, когда и бедным, и богатым — всем досужно, сядут на лавочку перед хоромами Ивана Богатого и начнут калякать.

— У тебя завтра с чем щи? — спросит Иван Богатый.

— С пу́стом, — ответит Иван Бедный.

— А у меня с убоиной.

Зевнет Иван Богатый, рот перекрестит, взглянет на Бедного Ивана, и жаль ему станет.

— Чудно́ на свете деется, — молвит он, — который человек постоянно в трудах находится, у того по праздникам пустые щи на столе; а который при полезном досуге состоит — у того и в будни щи с убоиной. С чего бы это?

— И я давно думаю: с чего бы это? да недосуг раздумывать-то мне. Только начну думать, ан в лес за дровами ехать надобно; привез дров — смотришь, навоз возить или с сохой выезжать пора пришла. Так, между делом, мысли-то и уходят.

— Надо бы, однако, нам это дело рассудить.

— И я говорю: надо бы.

Зевнет и Иван Бедный с своей стороны, перекрестит рот, пойдет спать и во сне завтрашние пустые щи видит. А на другой день проснется — смотрит, Иван Богатый сюрприз ему приготовил: убоины ради праздника во щи прислал.

В следующий предпраздничный канун опять сойдутся соседи и опять за старую материю примутся.

— Веришь ли, — молвит Иван Богатый, — и наяву и во сне только одно я и вижу: сколь много ты против меня обижен!

— И на этом спасибо, — ответит Иван Бедный.

— Хоть и я благородными мыслями немалую пользу обществу приношу, однако ведь ты... не выйди-ка ты вовремя с сохой — пожалуй, и без хлеба пришлось бы насидеться. Так ли я говорю?

— Это так точно. Только не выехать-то мне нельзя, потому что в этом случае я первый с голоду пропаду.

— Правда твоя: хитро эта механика устроена. Однако ты не думай, что я ее одобряю, — ни боже мой! Я только об одном и тужу: «Господи! как бы так сделать, чтобы Ивану Бедному хорошо было?! Чтобы и я — свою порцию, и он — свою порцию».

— И на этом, сударь, спасибо, что беспокоитесь. Это действительно, что кабы не добродетель ваша — сидеть бы мне праздник на тюре на одной...

— Что ты! что ты! разве я об том! Ты об этом забудь, а я вот об чем. Сколько раз я решался: пойду, мол, и отдам полимения нищим! И отдавал. И что же! Сегодня я отдал полимения, а назавтра проснусь — у меня вместо убылой-то половины целых три четверти опять объявилось.

— Значит, с процентом...

— Ничего, братец, не поделаешь. Я — от денег, а деньги —

ко мне. Я бедному пригоршню, а мне вместо одной-то неведомо откуда две. Вот ведь чудо какое!

Наговорятся и начнут позевывать. А между разговором Иван Богатый все-таки думу думает: что бы такое сделать, чтобы завтра у Ивана Бедного щи с убоиной были? Думает-думает да и выдумает.

— Слушай-ка, миляга! — скажет. — Теперь уж недолго и до́ ночи осталось, сходи-ка ко мне в огород грядку вскопать. Ты шутя часок лопатой поковыряешь, а я тебя по силе возможности награжу, — словно бы ты и взаправду работал.

И действительно, поиграет лопатой Иван Бедный часок-другой, а завтра он с праздником, словно бы и «взаправду поработал».

Долго ли, коротко́ ли соседи таким манером калякали, только под конец так у Ивана Богатого сердце раскипелось, что и взаправду невтерпеж ему стало. «Пойду, говорит, к самому На́большему, паду перед ним и скажу: «Ты у нас око царево! ты здесь решишь и вяжешь, караешь и милуешь! Повели нас с Иваном Бедным в одну вёрсту поверстать. Чтобы с него рекрут — и с меня рекрут, с него подвода — и с меня подвода, с его десятины грош — и с моей десятины грош. А души чтобы и его и моя от акциза одинаково свободны были!»*

И как сказал, так и сделал. Пришел к На́большему, пал перед ним и объяснил свое горе. И На́больший за это Ивана Богатого похвалил. Сказал ему: «Исполать тебе, добру молодцу, за то, что соседа своего, Ивашку Бедного, не забываешь. Нет для начальства приятнее, как ежели государевы подданные в добром согласии и во взаимном радении живут, и нет того зла злее, как ежели они в сваре, в ненависти и в доносах друг на дружку время проводят!» Сказал это На́больший и, на свой страх, повелел своим помощникам, чтобы, в виде опыта, обоим Иванам суд равный был и дани равные, а того бы, как прежде было: один тяготы несет, а другой песенки поет — впредь чтобы не было.

Воротился Иван Богатый в свое село, земли под собою от радости не слышит.

— Вот, друг сердешный, — говорит он Ивану Бедному, — своротил я, по милости начальнической, с души моей камень тяжелый! Теперь уж мне супротив тебя, в виде опыта, никакой вольготы не будет. С тебя рекрут — и с меня рекрут, с тебя подвода — и с меня подвода, с твоей десятины грош —

и с моей грош. Не успеешь и ты оглянуться, как у тебя от одной этой поровёнки во щах ежедень убоина будет!

Сказал это Иван Богатый, а сам в надежде славы и добра уехал на теплые воды, где года два сряду и находился при полезном досуге.

Был в Вестфалии — ел вестфальскую ветчину; был в Страсбурге — ел страсбургские пироги; в Бордо был — пил бордоское вино; наконец приехал в Париж — все вообще пил и ел. Словом сказать, так весело прожил, что насилу ноги унес. И все время об Иване Бедном думал: то-то он теперь, после поровёнки-то, за обе щеки уписывает!

А Иван Бедный между тем в трудах жил. Сегодня вспашет полосу, а завтра заборонует; сегодня скосит осьминник, а завтра, коли бог вёдрушко даст, сено сушить принимается. В кабак и дорогу позабыл, потому знает, что кабак — это погибель его. И супруга его, Марья Ивановна, заодно с ним трудится: и жнет, и боронует, сено трясет, и дрова колет. И детушки у них подросли — и те так и рвутся хоть с эстолько поработать. Словом сказать, вся семья с утра до ночи словно в котле кипит, и все-таки пустые щи не сходят у нее со стола. А с тех пор, как Иван Богатый из села уехал, так даже и по праздникам сюрпризов Иван Бедный не видит.

— Незадача нам, — говорит бедняга жене, — вот и сравняли меня, в виде опыта, в тягостях с Иваном Богатым, а мы все при прежнем интересе находимся. Живем богато, со двора покато; чего ни хватись, за всем в люди покатись.

Так и ахнул Иван Богатый, как увидел соседа в прежней бедности. Признаться сказать, первою его мыслью было, что Ивашка в кабак прибытки свои таскает. «Неужели он так закоренел? неужели он неисправим?» — восклицал он в глубоком огорчении. Однако Ивану Бедному не стоило никакого труда доказать, что у него не только на вино, но и на соль не всегда прибытков достаточно. А что он не мот, не расточитель, а хозяин радетельный, так и тому доказательства были налицо. Показал Иван Бедный свой хозяйственный инвентарь, и все оказалось в целости, в том самом виде, в каком было до отъезда богатого соседа на теплые воды. Лошадь гнедая покалеченная — 1; корова бурая, с подпалиной — 1; овца — 1; телега, соха, борона. Даже старые дровнишки — и те прислонены к забору стоят, хотя, по летнему времени, надобности в них нет и, стало быть, можно было бы без ущерба для хозяйства их в кабаке заложить. Затем осмотрели и избу — и там все налицо, только с крыши местами солома

повыдергаиа; но и это произошло оттого, что позапрошлой весной кормов недостало, так из прелой соломы резку для скота готовили.

Словом сказать, ие оказалось ни единого факта, который обвинял бы Ивана Бедного в разврате или в мотовстве. Это был корениой, задавленный русский мужик, который напрягал все усилия, чтобы осуществить все свое право на жизнь, но по какому-то горькому недоразумеиию осуществлял его лишь в самой недостаточной степеии.

— Господи! да с чего ж это? — тужил Иван Богатый. — Вот и поровняли нас с тобой, и права у нас одни, и дани равные платим, и все-таки пользы для тебя не предвидится — с чего бы?

— Я и сам думаю: с чего бы? — уныло откликнулся Иван Бедный.

Стал Иван Богатый умом раскидывать и, разумеется, нашел причину. Оттого, мол, так выходит, что у нас нет ни общественного, ни частного почина. Общество — равнодушное; частные люди — всякий об себе промышляет; правители же хоть и напрягают силы, но вотще. Стало быть, прежде всего надо общество подбодрить.

Сказано — сделано. Собрал Иван Семеныч Богатый на селе сходку и в присутствии всех домохозяев произнес блестящую речь о пользе общественного и частного почина... Говорил пространно, рассыпчато и вразумительно, словно бисер перед свиньями метал; доказывал примерами, что только те общества представляют залог преуспеяния и живучести, кои сами о себе промыслить умеют; те же, кои предоставляют событиям совершаться помимо общественного участия, те сами себя заранее обрекают на постепенное вымирание и конечную погибель. Словом сказать, все, что в Азбуке-копейке вычитал, все так и выложил пред слушателями.

Результат превзошел все ожидания. Посадские люди не только прозрели, но и прониклись самосознанием. Никогда не испытывали они такого горячего наплыва разнообразнейших ощущений. Казалось, к ним внезапно подкралась давно желанная, но почему-то и где-то задержавшаяся жизненная волна, которая высоко-высоко подняла на себе этот темный люд. Толпа ликовала, наслаждаясь своим прозрением; Ивана Богатого чествовали, называли героем. И в заключение единогласно постановили приговор: 1) кабак закрыть навсегда; 2) положить основание самопомощи, учредив Общество Доброхотной копейки.

В тот же день по числу приписанных к селу душ в кассу общества поступило две тысячи двадцать три копейки, а Иван Богатый, сверх того, пожертвовал неимущим сто экземпляров Азбуки-копейки, сказав: «Читайте, други! тут все есть, что для вас нужно!»

Опять уехал Иван Богатый на теплые воды, и опять остался Иван Бедный при полезных трудах, которые на сей раз благодаря новым условиям самопомощи и содействию Азбуки-копейки, несомненно, должны были принести плод сторицею.

Прошел год, прошел другой. Ел ли в течение этого времени Иван Богатый в Вестфалии вестфальскую ветчину, а в Страсбурге — страсбургские пироги, достоверно сказать не умею. Но знаю, что когда он по окончании срока воротился домой, то в полном смысле слова обомлел.

Иван Бедный сидел в развалившейся лачуге, худой, отощалый; на столе стояла чашка с тюрей, в которую Марья Ивановна по случаю праздника подлила для запаха ложку конопляного масла. Детушки обсели кругом стола и торопились есть, как бы опасаясь, чтоб не пришел чужак и не потребовал сиротской доли.

— С чего бы это? — с горечью, почти с безнадежностью, воскликнул Иван Богатый.

— И я говорю: с чего бы это? — по привычке отозвался Иван Бедный.

Опять начались предпраздничные собеседования на лавочке перед хоромами Ивана Богатого; но как ни всесторонне рассматривали собеседники удручавший их вопрос, ничего из этих рассмотрений не вышло. Думал было сначала Иван Богатый, что оттого это происходит, что не дозрели мы; но, рассудив, убедился, что есть пирог с начинкою — вовсе не такая трудная наука, чтоб для нее был необходим аттестат зрелости. Попробовал было он поглубже копнуть, но с первого же абцуга* такие пугала из глубины повыскакали, что он сейчас же дал себе зарок — никогда ни до чего не докапываться. Наконец решились на последнее средство: обратиться за разъяснением к местному мудрецу и философу Ивану Простофиле.

Простофиля был коренной сельчанин, колченогий горбун, который по случаю убожества ценностей не производил, а питался тем, что круглый год в кусочки ходил. Но в селе про него говорили, что он умен, как поп Семен, и он вполне оправдывал эту репутацию. Никто лучше его не умел на бобах раз-

вести и чудеса в решете показать. Посулит Простофиля красного петуха — глядь, ан петух уж где-нибудь на крыше крыльями хлопает; посулит град с голубиное яйцо — глядь, ан от града с поля уж ополоумевшее стадо бежит. Все его боялись, а когда под окном раздавался стук его нищенской клюки, то хозяйка-стряпуха торопилась как можно скорее подать ему лучший кусок.

И на этот раз Простофиля вполне оправдал свою репутацию прозорливца. Как только Иван Богатый изложил пред ним обстоятельства дела и затем предложил вопрос: с чего бы? — Простофиля тотчас же, нимало не задумываясь, ответил:

— Оттого, что в планту́ так значится.

Иван Бедный, по-видимому, сразу понял Простофилину речь и безнадежно покачал головой. Но Богатый Иван решительно недоумевал.

— Плант такой есть, — пояснил Простофиля, отчетливо произнося каждое слово и как бы наслаждаясь собственным прозорливством, — и в оном планту́ значится: живет Иван Бедный на распутии, а жилище у него не то изба, не то решето дырявое. Вот богачество-то и течет все мимо да скрозь, потому задержки себе не видит. А ты, Богатый Иван, живешь у самого стёка, куда со всех сторон ручьи бегут. Хоромы у тебя просторные, справные, частоколы кругом выведены крепкие. Притекут к твоему жительству ручьи с богачеством — тут и застрянут. И ежели ты, к примеру, вчера пол-имения роздал, то сегодня к тебе на смену целых три четверти привалило. Ты — от денег, а деньги — к тебе. Под какой куст ты ни заглянешь, везде богачество лежит. Вот он каков, этот плант. И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту́ так значится.

ЛИБЕРАЛ

В некоторой стране жил-был либерал, и притом такой откровенный, что никто слова не молвит, а он уж во все горло гаркает: «Ах, господа, господа! что́ вы делаете! ведь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а, напротив, все говорили: «Пускай предупреждает — нам же лучше!»

— Три фактора, — говорил он, — должны лежать в основании всякой общественности: свобода, обеспеченность и са-

модеятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мысли, не имея ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели общество сознает себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Ежели общество лишено самодеятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об отечестве.

Вот как мыслил либерал, и, надо правду сказать, мыслил правильно. Он видел, что кругом него люди, словно отравленные мухи, бродят, и говорил себе: «Это оттого, что они не сознают себя строителями своих судеб. Это колодники, к которым и счастие, и злосчастие приходят без всякого с их стороны предвидения, которые не отдаются беззаветно своим ощущениям, потому что не могут определить, действительно ли это ощущения, или какая-нибудь фантасмагория». Одним словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собою все остальные блага, необходимые для развития общественности.

Но этого мало: либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать. Заветнейшее его желание состояло в том, чтобы луч света, согревавший его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил ее и все живущее напоил благоволением. Всех людей он признавал братьями, всех одинаково призывал насладиться под сению излюбленных им идеалов.

Хотя это стремление перевести идеалы из области эмпиреев на практическую почву припахивало не совсем благонадежно, но либерал так искренно пламенел, и притом был так мил и ко всем ласков, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой высказать, и простачком, где нужно, прикинуться, и бескорыстием щегольнуть. А главное, никогда и ничего он не требовал наступя на горло, а всегда только *по возможности*.

Конечно, выражение «по возможности» не представляло для его ретивости ничего особенно лестного, но либерал примирялся с ним, во-первых, ради общей пользы, которая у него всегда на первом плане стояла, и, во-вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и преждевременной гибели. Сверх того, он знал, что идеалы, его одушевляющие, имеют слишком отвлеченный характер, чтобы воздействовать на жизнь непосредственным образом. Что такое свобода? обеспеченность? самодеятельность? Все это отвлеченные тер-

мины, которые следует наполнить несомненно осязательным содержанием, чтобы в результате вышло общественное цветение. Термины эти в своей общности могут воспитывать общество, могут возвышать уровень его верований и надежд, но блага осязаемого, разливающего непосредственное ощущение довольства, принести не могут. Чтобы достичь этого блага, чтобы сделать идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи и уже в этом виде применять к исцелению недугов, удручающих человечество. Вот тут-то, при размене на мелочи, и вырабатывается само собой это выражение: «по возможности», которое, из двух приходящих в соприкосновение сторон, одну заставляет *в известной степени* отказаться от замкнутости, а другую — *в значительной степени* сократить свои требования.

Все это отлично понял наш либерал и, заручившись этими соображениями, препоясался на брань с действительностью. И прежде всего, разумеется, обратился к сведущим людям.

— Свобода — ведь, кажется, тут ничего предосудительного нет? — спросил он их.

— Не только не предосудительно, но и весьма похвально, — ответили сведущие люди. — Ведь это только клевещут на нас, будто бы мы не желаем свободы; в действительности мы только об ней и печалимся... Но, разумеется, в пределах...

— Гм... «в пределах»... понимаю! А что вы скажете насчет обеспеченности?

— И это милости просим... Но, разумеется, тоже в пределах.

— А как вы находите мой идеал общественной самодеятельности?

— Его только и недоставало. Но, разумеется, опять-таки в пределах.

Что ж! в пределах так в пределах! Сам либерал хорошо понимал, что иначе нельзя. Пусти-ка савраса без узды — он в один момент того накуролесит, что годами потом не поправишь! А с уздою — святое дело! Идет саврас и оглядывается: а ну-тко я тебя, саврас, кнутом шарахну... вот так!

И начал либерал «в пределах» орудовать: там урвет, тут урежет; а в третьем месте и совсем спрячется. А сведущие люди глядят на него и не нарадуются. Одно время даже так работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сделались.

— Действуй! — поощряли они его. — Тут обойди, здесь сту-

шуй, а там и вовсе не касайся. И будет все хорошо. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя, козла, в огород пустить, да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесен!

— Вижу-то вижу, — соглашался либерал, — но только как мне стыдно свои идеалы ломать! так стыдно! ах, как стыдно!

— Ну, и постыдись маленько: стыд глаза не выест! зато *по возможности* все-таки затею свою выполнишь!

Однако по мере того, как либеральная затея *по возможности* осуществлялась, сведущие люди догадывались, что даже и в этом виде идеалы либерала не розами пахнут. С одной стороны, чересчур широко задумано; с другой стороны — недостаточно созрело, к восприятию не готово.

— Невмоготу нам твои идеалы! — говорили либералу сведущие люди. — Не готовы мы, не выдержим!

И так подробно и отчетливо все свои несостоятельности и подлости высчитывали, что либерал, как ни горько ему было, должен был согласиться, что действительно в предприятии его существует какой-то фаталистический огрех: не лезет в штаны, да и баста.

— Ах, как это печально! — роптал он на судьбу.

— Чудак! — утешали его сведущие люди. — Есть от чего плакать! Тебе что нужно? — будущее за твоими идеалами обеспечить? — так ведь мы тебе в этом не препятствуем. Только не торопись ты, ради Христа! Ежели нельзя «по возможности», так удовольствуйся тем, что отвоюешь «хоть что-нибудь»! Ведь и «хоть что-нибудь» свою цену имеет. Помаленьку да полегоньку, не торопясь да богу помолясь — смотришь, ан одной ногой ты уж и в капище! В капище-то с самой постройки его никто не заглядывал; а ты взял да и заглянул... И за то бога благодари.

Делать нечего, пришлось и на этом помириться. Ежели нельзя «по возможности», так «хоть что-нибудь» старайся урвать, и на том спасибо скажи. Так либерал и поступил, и вскоре так свыкся с своим новым положением, что сам дивился, как он был глуп, полагая, что возможны какие-нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к нему явились. И пшеничное, мол, зерно не сразу плод дает, а также поцеремонится. Сперва надо его в землю посадить, потом ожидать, покуда в нем произойдет процесс разложения, потом оно даст росток, который прозябнет, в трубку пойдет, восколосится и т. д. Вот через сколько волшебств должно перейти зерно, прежде нежели даст плод сторицею!

Так же и тут, в погоне за идеалами. Посадил в землю «хоть что-нибудь» — сиди и жди.

И точно: посадил либерал в землю «хоть что-нибудь» — сидит и ждет. Только ждет-пождет, а не прозябает «хоть что-нибудь» — и вся недолга. На камень оно, что ли, попало или в навозе сопрело — поди разбирай!

— Что за причина такая? — бормотал либерал в великом смущении.

— Та самая причина и есть, что загребаешь ты чересчур широко, — отвечали сведущие люди. — А народ у нас между тем слабый, расподлеющий. Ты к нему с добром, а он норовит тебя же в ложке утопить. Большую надо сноровку иметь, чтобы с этим народом в чистоте себя сохранить!

— Помилуйте! что уж теперь об чистоте говорить! С каким я запасом-то в путь вышел, а кончил тем, что весь его по дороге растерял. Сперва «по возможности» действовал, потом на «хоть что-нибудь» съехал — неужто можно и еще дальше под гору идти?

— Разумеется, можно. Не хочешь ли, например, «применительно к подлости»?

— Как так?

— Очень просто. Ты говоришь, что принес нам идеалы, а мы говорим: прекрасно; только ежели ты хочешь, чтоб мы восчувствовали, то действуй применительно.

— Ну?

— Значит, идеалами-то не превозносись, а по нашему масштабу их сократи да применительно и действуй. А потом, может быть, и мы, коли пользу увидим... Мы, брат, тоже травленые волки, прожектеров-то видели! Намеднись генерал Крокодилов вот этак же к нам отъявился: «Господа, говорит, мой идеал — кутузка! пожалуйте!» Мы сдуру-то поверили, а теперь и сидим у него под ключом.

Крепко задумался либерал, услышав эти слова. И без того от первоначальных его идеалов только одни ярлыки остались, а тут еще подлость прямую для них прописывают! Ведь этак, пожалуй, не успеешь оглянуться, как и сам в подлецах очутишься. Господи! вразуми!

А сведущие люди, видя его задумчивость, с своей стороны, стали его понуждать: «Коли ты, либерал, заварил кашу, так уж не мудри, вари до конца! Ты нас взбудоражил, ты же нас и ублаготвори... действуй!»

И стал он действовать. И все применительно к подлости. Попробует иногда, грешным делом, в сторону улизнуть, а све-

дущий человек сейчас его за рукав: куда, либерал, глаза скосил? гляди прямо!

Таким образом шли дни за днями, а за ними шло вперед и дело преуспеяния «применительно к подлости». Идеалов и в помине уж не было — одна мразь осталась, — а либерал все-таки не унывал. «Что ж такое, что я свои идеалы пó уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь — я и опять молодец молодцом!» А сведущие люди слушали эти его похвальбы и поддакивали: именно так!

И вот шел он однажды по улице с своим приятелем, по обыкновению об идеалах калякал и свою мудрость на чем свет превозносил. Как вдруг он почувствовал, словно бы на щеку ему несколько брызгов пало. Откуда? с чего? Взглянул либерал наверх: не дождик ли, мол? Однако видит, что в небе ни облака и солнышко как угорелое на зените играет. Ветерок хоть и подувает, но так как помои из окон выливать не указано, то и на эту операцию подозрение положить нельзя.

— Что за чудо! — говорит приятелю либерал. — Дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят!

— А видишь, вон за углом некоторый человек притаился, — ответил приятель, — это его дело! Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он «применительно к подлости» из-за угла и плюнул; а на тебя ветром брызги нанесло.

БАРАН-НЕПОМНЯЩИЙ

Домашние бараны с незапамятных времен живут в порабощении у человека; их настоящие родоначальники неизвестны.

Брем

Были ли когда-нибудь домашние бараны «вольными» — история об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами прирученных баранов, и затем через все века баран проходит распространенным по всему лицу земли в качестве животного, как бы нарочито на потребу человека созданного. Человек, в свою очередь, создает целые особые породы баранов, почти не имеющие между собою ничего общего. Одних воспитывают для мяса, дру-

гих — для сала, третьих — ради теплых овчин, четвертых — ради обильной и мягкой волны.

Сами домашние бараны, конечно, всего меньше о вольном прародителе своем помнят, а просто знают себя принадлежащими к той породе, в которой застал их момент рождения. Этот момент составляет исходную точку личной бараньей истории, но даже и он постепенно тускнеет, по мере вступления барана в зрелый возраст. Так что истинно мудрым называется только тот баран, который ничего не помнит и не сознает, кроме травы, сена и месятки, предлагаемых ему в пищу.

Однако грех да беда на кого не живет. Спал однажды некоторый баран и увидел сон. Должно быть, не одну месятку во сне видел, потому что проснулся тревожный и долго глазами чего-то искал.

Стал он припоминать, что такое случилось; но, хоть убей, ничего вспомнить не мог. Даль какая-то, серебряным светом подернутая, и больше ничего. Только смутное ощущение этой бесформенной серебряной дали осталось в нем, но никакого определенного очертания, ни одного живого образа...

— Овца! а овца! что я такое во сне видел? — спросил он лежащую рядом овцу, которая, яко воистину овца, отроду снов не видала.

— Спи, выдумщик! — сердито отвечала овца. — Не для того тебя из-за моря привезли, чтоб сны видеть да модника из себя представлять!

Баран был породистый, английский меринос. Помещик Иван Созонтыч Растаковский шальные деньги за него заплатил и великие на него надежды возлагал. Но, конечно, не для того он его из-за моря вывез, чтоб от него поколение *умных* баранов пошло, а для того, чтоб он создал для своего хозяина стадо тонкорунных овец.

И в первое время по приезде его на место баран действительно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Ни о чем он не рассуждал, ничем не интересовался, даже не понимал, куда и зачем его привезли, а просто-напросто жил да поживал. Что же касается до вопроса о том, что такое баран и какие его права и обязанности, то баран не только никаких пропаганд по этому предмету не распространял, но едва ли даже подозревал, что подобные вопросы могут бараньи головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Созонтыч и сам нарадоваться на него не мог и соседей любоваться водил: смотрите!

И вдруг этот сон... Что это был за сон, баран решительно не мог сообразить. Он чувствовал только, что в существование его вторглось нечто необычное, какая-то тревога, тоска. И хлев у него, по-видимому, тот же, и корм тот же, и то же стадо овец, предоставленное ему для усовершенствования, а ему ни до чего как будто бы дела нет. Бродит он по хлеву, как потерянный, и только и дела блеет:

— Что такое я во сне видел? растолкуйте мне, что такое я видел?

Но овцы не высказывали ни малейшего сочувствия к его тревогам и даже не без ядовитости называли его умником и филозо́фом, что, как известно, на овечьем языке имеет значение худшее, нежели «моветон».

С тех пор как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом, шлёнской породы, баране, который перед тем четыре года сряду ими помыкал, но под конец, за выслугу лет, был определен на кухню и там без вести пропал (видели только, как его из кухни на блюде с триумфом в господский дом пронесли). То-то был настоящий служилый баран! Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а делал свое дело по точному разуму бараньего устава — и больше ничего знать не хотел. И что же! его, старого и испытанного слугу, уволили, а на его место определили какого-то празднолюбца, мечтателя, который с утра до вечера неведомо о чем блеет, а они, овцы, между тем ходят яловы!

— Совсем нас этот аглецкой олух не совершенствует! — жаловались овцы овчару Никите. — Как бы нам за него, за фофана, перед Иваном Созонтычем в ответе не быть?

— Успокойтесь, милые! — обнадежил их Никита. — Завтра мы его выстрижем, а потом крапивой высечем — шелковый будет!

Однако расчеты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь опять сон увидел.

С тех пор сны не покидали его. Не успеет он ноги под себя подогнуть, как дрема́ уже сторожит его, не разбирая, день или ночь на дворе.

И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не баранье сделается, а серьезное, строгое, как у старого, благомысленного мужичка из тех, что в старинные годы «министрами» называли. Так что всякий, кто ни пройдет мимо, непременно скажет: не на скотном дворе этому барану место — ему бы бурмистром следовало быть!

Тем не менее сколько он ни подстерегал себя, чтобы восстановить в памяти только что виденный сон, усилия его по-прежнему оставались напрасными.

Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины, созерцание которых приводило его в восторженное состояние; но как только бодрственное состояние возвращалось, и образы и картины исчезали неведомо куда, и он опять становился заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шел навстречу своему бараньему делу, а теперь ходил ошеломленный, чего-то, сдуру, искал, а чего именно — сам себе объяснить не мог... Баран, да еще меланхолик, — что, кроме ножа, может ожидать его в будущем?

Но, кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет боли горшей, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания от тьмы к свету встревоженной бессознательности. Пристигнутое внезапной жаждой бесформенных чаяний, бедное, подавленное существо мечется и изнемогает, не умея определить ни характера этих чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем, и не знает, ради чего это пламя зажглось; оно смутно чует, что мир не оканчивается стенами хлева, что за этими стенами открываются светлые, радужные перспективы, и не умеет наметить даже признаки этих перспектив; оно предчувствует свет, простор, свободу — и не может дать ответа на вопрос: что такое свет, простор, свобода...

По мере учащения снов волнение барана все больше и больше росло. Ниоткуда не видел он ни сочувствия, ни ответа. Овцы с испугу жались друг к другу при его приближении; овчар Никита хотя, по-видимому, и знал нечто, но упорно молчал. Это был умный мужик, который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну обязательную аксиому.

— Коли ты в бараньем сословии уродился, — говорил он солидно, — в ём, значит, и живи!

Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно «сословие»-то его и мучило, не потому, что ему худо было жить, а потому, что с тех пор, как он стал сны видеть, ему постоянно чуялось какое-то совсем другое «сословие».

Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею.

Тем не менее с течением времени тревоги его начали утихать, и он как будто даже остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на прежнюю баранью колею, а, напротив, скорее свидетельствовало об общем обессилении бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой.

Баран — очевидно, с предвзятым намерением — с утра до вечера спал, как будто искал обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему бодрственная действительность...

В то же время он с каждым днем все больше и больше чах и хирел и наконец сделался до того поразительно худ, что глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо между собой перешептываться. И по мере того как неразгаданный недуг овладевал им, лицо его становилось осмысленнее и осмысленнее. Овчары все до единого жалели об нем. Все знали, что он честный и бодрый баран и что ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастие, вовсе баранам не свойственное, но в то же время, — как многие инстинктивно догадывались, — делающее ему лично великую честь.

Сам Иван Созонтыч сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле — нож, но Растаковский упорно отклонял это предложение.

— Плакали мои денежки, — говорил он, — но не затем я их платил, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умрет!

И вот вожделенный момент просияния наступил. Над полями мерцала теплая, облитая лунным светом июньская ночь; тишина стояла кругом непробудная; не только люди притаились, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении.

В бараньем загоне все спало. Овцы, понурив головы, дремали около изгороди. Баран лежал одиноко посередке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил. Выпрямил ноги, вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении, как бы прислушиваясь и всматриваясь, простоял он несколько минут, и затем сильное, потрясающее блеяние вырвалось из его груди...

Заслышав эти торжественно-агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих мест и шарахнулись в сторону.

Сторожевой пес тоже проснулся и с лаем бросился приводить в порядок всполошившееся стадо. Но баран уже не обращал внимания на происшедший переполох: он весь ушел в созерцание.

Перед тускнеющим его взором воочию развернулась сладостная тайна его снов...

Еще минута — и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мертвый рухнул на землю.

Иван Созонтыч был очень смертью его огорчен.

— И что за причина такая? — сетовал он вслух. — Все был баран как баран, и вдруг словно его осетило... Никита! ты пятьдесят лет в овчарах состоишь, стало быть, должен дурью эту породу знать: скажи, отчего над ним такая беда стряслась?

— Стало быть, «вольного барана» во сне увидел, — ответил Никита. — Увидать-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог... Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Все равно как из нашего брата бывает...

Но Иван Созонтыч от дальнейшего объяснения уклонился.

— Сие да послужит нам уроком! — похвалил он Никиту. — В другом месте из этого барана, может быть, козел бы вышел, а по нашему месту такое правило: ежели ты баран, так и оставайся бараном без дальних затей. И хозяину будет хорошо, и тебе хорошо, и государству приятно. И всего у тебя будет довольно: и травы, и сена, и месятки. И овцы к тебе будут ласковы... Так ли, Никита?

— Это так точно, Иван Созонтыч! — отозвался Никита.

КОНЯГА

Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужичком ее одолели.

Коняга — обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалялась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-день-

ской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит.

А силы Коняге набраться неоткуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживится, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел.

Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: «Ну, милый, упирайся! — услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними — забирает, морду к груди пригнет. — Ну, каторжный, вывози!» А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть — и Коняге и мужику; каждый день смерть.

Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит; юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные — они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек, вдали идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет.

Из века в век цепенеет грозная неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы

не выдало, — той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи.

Лежит Коняга на самом солнечном припеке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи как бешеные мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли Коняга, или помирает — нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе бог бессловесной животине отказал.

Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой все дальше и дальше в бездонную глубь.

Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца-краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном — оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас — опять народилось. Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель — Коняга. Для всех поле — раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно — кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: «Ну, милый! ну, каторжный! ну!»

Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз... Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение — отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай



лучи его вызывают к жизни и ликованию — бедный Коняга знает об нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.

Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтоб он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго и работы. Сколько веков он несет это иго — он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди — не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа.

Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде все он, все один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живет в нем, не умирающая, не расчленимая и не истребимая. Нет конца жизни — только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идет? — вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее... Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.

Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто с первого взгляда не скажет, что Коняга и Пустопляс — одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло.

Жил во времена оны старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и

чувствительный, а Коняга — неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик Конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но наконец рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля: Коняге — солома, а Пустоплясу — овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена ему в ясли засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: хлопай зубами, Коняга! А пить — вон из той лужи.

Совсем было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, говорит, мне стойло теплое, прискучила сыта медовая, не лезет в горло пшено ярое; пойду проведаю, каково-то мой братец живет!»

Смотрит — ан братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни попадя, а он живет; кормят его соломою, а он живет! И в какую сторону поля ни взгляни, везде все братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом — он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может!

И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать.

Один скажет:

— Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоров, Коняга! Делай свое дело, бди!

Другой возразит:

— Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь! Что такое здравый смысл? Здравый смысл — это нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит! И, покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит!

Третий молвит:

— Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа, дух жизни — что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что он «настоящий труд» для себя нашел. Этот труд

дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своею личною совестью, и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся! загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда.

А четвертый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:

— Ах, господа, господа! всё-то вы пальцем в небо попадаете! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а оттого, что он спокон веку к своей юдоли привычен. Теперича хоть целое дерево об него обломай, а он все жив. Вон он лежит — кажется, и духу-то в нем нисколько не осталось, — а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек этаких, по полю разбрелось — и все, как один. Калечьте их теперича сколько угодно — их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас его нет, а сейчас он опять из-под земли выскочил.

И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами:

— Н-но, каторжный, шевелись!

Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется.

— Смотрите-ка, смотрите-ка, — закричат они вкупе и влюбе, — смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно, дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! вот кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР

(Ни то сказка, ни то быль)

В деревне Софонихе около полден вспыхнул пожар. Это случилось в самый развал июньской пахоты. И мужики и бабы были в поле. Сказывали: шел мимо деревни солдатик, присел на завалинку, покурил трубочки и ушел. А вслед за ним загорелось.

Деревня сгорела дотла. Только тот порядок, где были житницы, уцелел наполовину. Мужики в одночасье потеряли все и сделались нищими. Сгорела бабушка Прасковья, да еще Татьянин мальчик Петька. Мужики и бабы, завидев густой дым, бежали с поля как угорелые, оставив сохи и лошадей. Но спасать было уже нечего. Хорошо, что скота не было дома да навоз был только что вывезен, а то пришлось бы совсем хоть помирай. Малолетки, которые в минуту пожара играли на улице, спаслись в речку и отчаянно ревели. Девочки-подростки с младенцами на руках испуганно выглядывали на обуглившиеся избы и обнаженные остовы печей.

Тетка Татьяна была бодрая и еще молодая бобылка. Лет шесть тому назад у нее умер муж, но она продолжала держать хозяйство. Платила миру за половину надела, сама пахала, косила и жала. У нее был единственный сын Петька, лет восьми, в котором она души не чаяла и в котором уже видела будущего мужика. Он и сам видел в себе мужика и говорил:

— Я, мама, буду мужик... хресьянин.

Вся деревня его любила. Мальчик был вострый и ласковый и уже ходил в школу. Бывало, идет по деревне мимо стариков.

— Ну что, мужичок, помогаешь мамке? — спрашивают старики.

— Помогаю.

Между тем улица запружалась всяким мужицким хламом; мужику все дорого, все надобно. Домохозяева, окруженные домочадцами, бродили каждый по своему пепелищу и тащили все, что попадалось на глаза: старую подошву, заржавленный гвоздь, обрывок шлеи, обломок сошника и проч. У некоторых уцелели подполицы; но так как время было голодное (петров пост), то подполицы были пусты. Один заведомый нищий, лет десять ходивший «в кусочки», метался и кричал:

— Где моя кубышка? где? кто унес? сказывайте: кто?

Бабушка Авдотья ходила взад и вперед по улице и всем показывала два обгоревших выигрышных билета внутреннего займа. Обгорели края; середка с несколькими купонами осталась цела.

— Чай, выдадут! — утешал ее староста Михей. — Ишь и нумера видны (на уцелевших купонах); ужо барыня в Питере похлопочет[1].

[1] Факт. В 1872 году приходила к автору крестьянка села Заозерья (Углицкого уезда) и показывала два или три обгоревших по краям билета, но так, что на уцелевших посередке купонах видны были и № билета и серии. Я просил некоторых добрых знакомых ходатайствовать в бан-

Старики собрались в кучу и обсуждали мирскую нужу. На всех лицах была написана душевная мука; у некоторых глаза сочились слезами. Решили: идти всем миром, поклониться соседней одновотчиниой деревне, чтобы дала приют погорельцам, покуда не будут устроены хотя какие-нибудь временные помещения. Затем снарядили старосту и послали верхом в город, в управу, за пособием и страховыми.

Пришел сельский батюшка и, похаживая между мужиками, утешал их.

— Кто дал? Бог! — говорил он. — Кто взял? Бог! Неужто ж он не знает?

Мужики молча ему поклонились.

— А вы не унывайте! — продолжал батюшка. — С какого права? почему? как? кто дозволил? Скот — при вас, земледельческие орудия целехоньки, навоз вывезен — чего еще земледельцу нужно? А вы ропщете! Вот ужо управа на постройку денег отпустит; помещица — нуждающимся хлебца пришлет; и я тоже... разве я не молюсь за вас? Я не только за вас, но и за *всех* молюсь. «И всех православных християн» — вот как.

Опять поклонились мужики, а словоохотливый батюшка продолжал:

— Коли страх божий будете в сердцах сохранять да храм божий усердно посещать, так и не увидите, как бог сторицей вознаградит. Хлеб ныиче обещает жатву изрядную. Озимые отменные; яровые, бог даст, поправятся. Ужо снимете у барыни полевину — вот вы и с сеном. Свезете по возку, по другому — ан и денежки в кошеле завелись; а там озимое, ржицы на базар свезете — опять деньги; а наконец и овсецо — тоже деньги. В будущем же году и не увидите, как на месте истребленных неумолимым пламенем хижин будут красоваться новые дома, удобные и просторные, и все вы поживете в них, кийждо под смоковницею своей, и всерадостно и всецело возблагодарите господа вашего за ниспосланное вам благодеяние. Вот увидите.

А тетка Татьяна беспомощно ходила по своему пепелищу, сгребала тлеющие бревна и выкликала:

— Петь, а Петь, где ты, милый? Откликнись!

И не слыхала, как ветхий старик Калистратыч говорил ей:

ке. Всем казалось дело несомненным, но г. Ламанский, тогдашний управляющий банком, рассудил иначе. Ни возобновить билеты, ни даже выдать за них нарицательную цену оказалось невозможно. Это, изволите видеть, польза банка. Вот как истинные сановники блюдут интересы казны! *(Прим. автора.)*

— Смотри, не в лес ли он убёг? Давеча видел я его. Сидел я у житницы на приступочке, как ваша-то изба занялась. Смотрю: кружится Петька по горнице, рубашонкой раздувает. Я ему кричу: толкни, милый, дверь, толкни! Только кружился он, кружился, а потом и ничего не стало видно. Наверное, убёг в лес с испугу.

Но Татьяна ничего не чувствовала, кроме того, что сердце ее рвется на части.

— Петь, а Петь! где ты, милый? Откликнись! — раздавался ее вопль среди общего говора деревенского люда.

Наконец человека два сжалились над нею и пришли на помощь. Разворочали обрушившийся потолок и под дымящимися обломками его нашли труп мальчика. Вся сторона тела и лица, обращенная кверху, представляла безобразную черную массу; но та, которая прилегала к полу, осталась нетронутою.

Татьяна пошатнулась, в глазах потемнело, и из груди на всю деревню вырвался потрясающий ее вопль:

— Господи! видишь ли?

Этот вопль услыхал и батюшка и, разумеется, поспешил с утешением.

— Ропщешь? — говорил он с ласковой укоризной. — А Иова помнишь? Нет? Так я тебе напомню! Он был богат и славен, имел детей, стада и сокровища — и вдруг, с дозволения божия, все было у него отнято: и дети, и скот, и друзья, а сам он был поражен проказою, изгнан из города и лежал у городских ворот, на гноище. Псы лизали его раны... псы! Но и за всем тем он не токмо не возроптал, но наипаче возлюбил господа, создавшего его. И бог, видя таковую его преданность, воззрел на него. Через короткое время Иов был и здоров, и богат, и славен более прежнего. Стада умножились, детей народилось достаточно, словом сказать — все...

Однако и батюшкины увещания доходили до Татьяны в форме смутного и назойливого шума. Она устремила глаза на ту линию, которая разделяла уцелевшую часть Петькина лица от обуглившейся, и тихо шептала:

— Господи! видишь ли?

В усадьбе в это время добрая барыня, Анна Андреевна Копейщикова, праздновала день своего рождения. Собрались немногие, но искренние друзья: предводитель Кипящев с женою, исправник Шипящев с племянницею, да еще Иван Иваныч Глаз, партикулярный человек, про которого говорили,

что при нем язык за зубами держать надо. Впрочем, так как тут были всё люди, при которых тоже нужно было язык держать на привязи (сама Анна Андреевна говорила, что она где-то «служит»), то Иван Иваныч чувствовал себя в этой компании очень удобно. Присутствовал тут и батюшка с попадьей.

Анна Андреевна была генеральская вдова, лет сорока с небольшим, еще красивая и особенно выдающаяся роскошным бюстом на балах и вечерах, где обязательно декольте и где ее бюст приковывал к себе взоры людей всех возрастов и всех оружий. Но она раз навсегда сказала себе: «Ni-ni — c'est fini» [1], и всю себя отдала своим детям. За это в свете про нее говорили: «C'est une sainte» [2], а за патриотизм: «C'est une fière matrone!» [3] Как и все русские дамы, она говорила по-французски, знала un peu d'arithmétique, un peu de géographie et un peu de mythologie (cette pauvre Léda!) [4], долго жила за границей, а в последнее время сделалась патриоткой и полюбила «добрый русский народ». Три года тому назад она посетила родное Горбилево и с тех пор ездила туда каждое лето. Поставила в саду мавзолей покойному мужу и каждый день молилась. Ни с кем не знакомилась, кроме испытанных «друзей порядка», хозяйства не вела, а отдавала землю мужикам исполу и, видимо, экономничала. У нее был сын Сережа, правовед лет шестнадцати, и восемнадцатилетняя дочь Верочка, шустрая особа, которая тоже знала un peu d'arithmétique et un peu de mythologie.

Господа уже возвратились из церкви и сидели за завтраком, когда прибежали сказать, что Софониха горит. Батюшка мгновенно скрылся увещевать: прочие побежали к окнам и смотрели. За громадной тучей дыма не было видно пламени, но дым прямо летел по ветру на усадьбу, и чувствовался в комнатах горький запах его. Людей тоже не было видно, но по дороге бежали к пожарищу толпы соседних крестьян и дворовых.

— Как вы хотите, господа, — сказала наконец Анна Андреевна, — а я не могу оставаться равнодушной зрительницей. Ведь они — мои. Злые люди разлучили нас, — надеюсь, временно, — но я все-таки помню, что они — мои.

---

[1] Ни-ни — это кончено *(франц.)*.
[2] Это — святая *(франц.)*.
[3] Это твердая патрицианка! *(франц.)*.
[4] Немножко арифметики, немножко географии и немножко мифологии (ах, эта бедная Леда!) *(франц.)*.

Но ей не дали одной совершить подвиг самоотвержения, и всей компанией вызвались сопутствовать ей.

— Да и вообще это наш долг, — продолжала Анна Андреевна, — если б даже это были и не мои крестьяне, все-таки наша священная обязанность — быть там, где страдают. Мы обеднели, мы обижены... но мы всё забыли. Мы помним только, что к нам обращает взоры страждущий меньший брат!

Узнавши, что в этот день пекли хлебы для рабочих и дворовых, она велела разрезать несколько на ломти и снести погорельцам.

— А завтра опять испечете хлеба для своих... надо же! Да не забудьте солью посыпать!

Словом сказать, сделала все, что было в ее власти, и наконец захватила портмоне, сказав: «Это на всякий случай!» И Верочка, по примеру матери, взяла кошелек с заветными светленькими монетами.

Компания остановилась у входа в деревню, но Верочка и мамзель Шипящева не утерпели и пошли вглубь по улице.

— Скажите мужичкам, что я им две четверти ржи жертвую! — крикнула им вслед Анна Андреевна.

Минут через пять Верочка прибежала назад, вся в слезах.

— Ах, мамочка! — объявила она. — Там есть бедная женщина, у которой сгорел мальчик-сын! Ах, как страшно... Что с ней делается! Батюшка увещевает ее, а она не слушается, только повторяет: «Господи! видишь ли?» Мамочка! это ужасно, ужасно, ужасно!

— Жаль бедную, но какая ты, однако ж, нервная, Вера! — упрекнула ее Анна Андреевна. — Это не годится, мой друг! Везде промысел — это прежде всего нужно помнить! Конечно... это большая утрата; но бывают и не такие, а мы покоряемся и терпим! Помнишь: крах Баймакова и наш текущий счет... Давал шесть процентов... и что ж! Впрочем, соловья баснями не кормят. Господа, — обратилась она к окружающим, — сделаемте маленькую коллекту[1] в пользу бедной страдалицы матери! Кто сколько может!

Она трепетною рукою вынула из портмоне десятирублевую бумажку, положила ее на ладонь и протянула руку. Верочка тотчас же положила туда весь свой кошелек; гости тоже вынули несколько мелких ассигнаций. Только Иван Иваныч Глаз отвернулся в сторону и посвистывал. Собралось около тридцати рублей.

---

[1] Сбор пожертвований *(франц. la collecte).*

— Ну вот, снеси ей! — сказала Анна Андреевна дочери. — Скажи, что свет не без добрых людей. Да подтверди мужичкам насчет ржи... две четверти! Да хлеба принесли ли? Скажи, чтоб роздали! Это для утоления первого голода!

Верочка быстро побежала. Ей представлялось в эту минуту, что она — ангел-хранитель и помавает серебряными крылами в небесной лазури с тридцатью рублями в руках. Она застала Татьяну все в том же положении. Последняя стояла с широко открытыми глазами, машинально шевелила губами, без всякого признака самочувствия. Батюшка по-прежнему стоял подле нее и рассказывал пример из истории первых мучеников времен жестокого царя Нерона. Татьяне еще не представлялся вопрос: что с ней будет? нужна ли ей изба, поле и вообще все, что до сих пор наполняло ее жизнь? или она должна будет скитаться по белу свету в батрачках?

И вдруг — ангел-хранитель.

— На́ тебе, милая! мамочка прислала! — говорила Верочка, протягивая деньги.

Татьяна ничего не поняла, даже не взглянула на милостыню.

— Бери, строптивая! — увещевал ее батюшка. — Добрые господа жалуют, а ты небрежешь!

Даже мужички заинтересовались и принялись уговаривать:

— Бери, тетка Татьяна, бери, коли дают! на избу пригодится... бери!

Татьяна не шелохнулась.

Верочка постояла, положила деньги на землю и удалилась огорченная. Батюшка поднял их.

— Ну, ежели ты не хочешь брать, — сказал он, — так я ими на церковное украшение воспользуюсь. Вот у нас паникадило плоховато, так мы старенькое-то в лом отдадим да вместе с этими деньгами и взбодрим новое! Засвидетельствуйте, православные!

— Мамочка, она не взяла! — говорила Верочка со слезами в голосе.

Изумились.

— Однако душок-то этот в них еще есть! не выбили! — загадочно молвил Глаз.

Но на этот раз Анна Андреевна не согласилась с ним.

— Есть душок — это правда; но не следует терять из вида глубину ее горя! Только сердце матери может понять, каково потерять... сына!

Предсказание батюшкино сбылось. Года через два я проезжал мимо Софонихи и увидел сущую метаморфозу. На месте старого пепелища стоял порядок новых домов, высоких и сравнительно просторных. Крыши, правда, были крыты соломою, но под щетку, так что глаз не огорчался ни махрами, ни висящими клочьями. Новые срубы блестели на солнце, как облупленное яичко. Только на месте Татьяниной избы валялись неприбранные головешки, а сама она скрылась из деревни неизвестно куда. Должно быть, по святым местам странствует, Христовым именем. Мужики жили дружно и, следовательно, исправно. Усердно работали, платили выкупные и мирские платежи безнедоимочно, отбывали повинности: рекрутскую, подводную и дорожную. Ежели же требовалось сверх того, то и это исполняли с готовностью.

Исправник Шипящев не нахвалится ими.

— Эта деревня у меня — в первом нумере! — говорит он. Бог в помощь, ребята!

ПУТЕМ-ДОРОГОЮ

(Разговор)

Шли путем-дорогою два мужика: Иван Бодров да Федор Голубкин. Оба были односельчане и соседи по дворам, оба только что в весенний мясоед женились. С апреля месяца жили они в Москве в каменщиках и теперь выпросились у хозяина в побывку домой на сенокосное время. Предстояло пройти от железной дороги верст сорок в сторону, а этакую махину, пожалуй, и привычный мужик в одни сутки не оплетет.

Шли они не то́ропко, не надрываясь. Вышли ранним утром, а теперь солнце уж высоко стояло. Они отошли всего верст пятнадцать, как ноги уж потребовали отдыха, тем больше что день выдался знойный, душный. Но, высматривая по сторонам, не встретится ли стога сена, под которым можно было бы поесть и соснуть, они оживленно между собой разговаривали.

— Ты что домой, Иван, несешь? — спросил Федор.

— Да три пятишницы хозяин до расчета дал. Одну-то, признаться, в Москве еще на мелочи истратил, а две домой несу.

— И я тоже. Да только куда с двумя пятишницами повернешься?

— Тут и в пир и в мир, а отец велел сказать, что какая-то

старая недоимка нашлась, так понуждают. Пожалуй, и все туда уйдет.

— А у нас и хлеба-то до нового не хватит. Пришел сенокос, руки-то целый день намахаешь, так поневоле есть запросишь. Ничего-то у нас нет, ни хлеба, ни соли, а тоже людьми считаемся. Говорят: вы каменщики, в Москве работаете, у вас должны деньги значиться... А сколько их и по осени-то принесешь!

— Худо наше крестьянское житье! Нет хуже.

— Чего еще!

Путники вздохнули и несколько минут шли молча.

— Что-то теперь наши делают? — опять начал Федор.

— Что делают! Чай, навоз вывезли, пашут... и пашут, и боронят, и сеют; круглое лето около земли ходят, а все хлеба нет. Сряду три года — то вымокнет, то сухмень высушит, то градом побьет... Как-то нынче господь совершит!

— А у меня, брат, и еще горе. К Дуньке волостной старшина увязался; не дает бабе проходу, да и вся недолга́. Свах с подарками засылает; одну батюшко вожжами поучил, так его же на три дня в холодную засадили.

— И ничего не поделаешь! Помнишь, как летось Прохорова Матренка задавилась? Тоже старшина... Терпела-терпела да и в петлю...

— Нам худо, а бабам нашим еще того хуже. Мы, по крайности, в Москву сходим, на свет поглядим, а баба — куда она пойдет? Словно к тюрьме прикованная. Ноги и руки за лето иссекутся; лицо, словно голенище, черное сделается, и на человека-то не похоже. И всякий-то норовит ее обидеть да обозвать...

— Давай-ка, Федя, песню с горя споем!

Стали петь песню, но с горя и с устатку как-то не пелось.

— А что, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится? — молвил Федор.

— И я тоже не одно́ва спрашивал у людей: где, мол, Правда, где ее отыскать? А мне один молодой барин в Москве сказал, будто она на дне колодца сидит спрятана.

— Ишь ведь! Кабы так, давно бы наши бабы ее оттоле бадьями вытащили, — пошутил Федор.

— Известно, посмеялся надо мной барчук. Им что! Они и без Правды проживут. А нам Неправда-то оскомину набила.

— Старики сказывают, что дедушко Еремей еще при старом барине все Правды искал; да Правда-то, вишь, изувечила его.

— Прежде многие Правду разыскивали; тяжельше, стало быть, жить было, да и сердце у стариков болело. Одна барщина сколько народу сгубила. В поле — смерть, дома — смерть, везде... Придет крестьянин о празднике в церковь, а там на всех стенах Правда написана, только со стены-то ее не снимешь.

— Это правда твоя, что не снимешь. Что крестьянин? Он и видит, да глаз неймет. Темные мы люди, бессчастные; вздохнешь да поплачешь: господи, помилуй! — только и всего. И молиться-то мы не умеем.

— Прежде ходоки такие были, за мир стояли. Соберется, бывало, ходок, крадучись, в Петербург, а его оттоле по этапу...

— Все-таки прежде хоть насчет Правды лучше было. И старики детям наказывали: одолела нас Неправда, надо Правды искать. Батюшко сказывал: такое сердце у дедушки Еремея было — так и рвется за мир постоять! И теперь он на печи изувеченный лежит; в чем душа, а все об Правде твердит! Только нынче его уж не слушают.

— То-то что легче, говорят, стало — оттого и Еремея не слушают. Кому нынче Правда нужна? И на сходке и в кабаке — везде нонче легость...

— Прежде господа рвали душу, теперь — мироеды да кабатчики. Во всякой деревне мироед завелся: рвет христианские души, да и шабаш.

— Возьмем хоть бы Василия Игнатьева — какие он себе хоромы на христианскую кровь взбодрил. Крышу-то красную за версту видно; обок лавка, а он стоит в дверях да брюхо об косяк чешет.

— И все к нему с почтением. Старшина приедет — с ним вместе бражничает, долги его прежде казенных податей собирает; становой приедет — тоже у него становится. У него и щи с убоиной, и водка. Летось молодой барин из Питера приезжал — сейчас: попросите ко мне Василия Игнатьича!.. «Ну что, Василий Игнатьич, всё ли подобру-поздорову? хорошо ли торгуете? Чайку вместе попьемте... вы, дескать, настоящий добрый русский крестьянин! печетесь о себе, другим пример показываете... И ежели, мол, вам что нужно, так пишите ко мне в Петербург».

— Одворицу выкупил, да надел на семь душ! Совсем из мира увольнился, сам барин.

— А теперь мир ему в ноги кланяется, как придет время подати вносить. Миром ему и сенокос убирают и хлеб жнут...

— Вот так легость! Нет, ты скажи, где же Правду искать?

— У бога она, должно быть. Бог ее на небо взял и не пущает.

Опять смолкли спутники, опять завздыхали. Но Федор верил, что не может этого статься, чтобы Правды не было на свете, и ему не по нраву было, что товарищ его относится к этой вере так легко.

— Нет, я попробую, — сказал он. — Я как приду, так сейчас же к дедушке Еремею схожу. Все у него выспрошу, как он Правду разыскивал.

— А он тебе расскажет, как его в части секли, как по этапу гнали, да в Сибирь совсем было собрали, только барин вдруг спохватился: определить Еремея лесным сторожем! И сторожил он барские леса до самой воли, жил в трущобе, и никого не велено было пускать к нему. Нет уж, лучше ты этого дела не замай!

— Никак этого сделать нельзя. Возьми хоть Дуньку: как я приду, сейчас она мне все расскажет... Что ж я столбом, что ли, перед ней стоять буду? Нет, тут и до смертного случая недалёко. Я ему кишки, псу несытому, выпущу!

— Ишь ведь! Все говорил об Правде, а теперь на кишки своротил. Разве это Правда? знаешь ли ты, что за такую Правду с тобой сделают?

— И пущай делают. По-твоему, значит, так и оставить. Приходите, мол, Егор Петрович: моя Дунька завсегда... Нет, это надо оставить! Сыщу я Правду, сыщу!

— Ах ты, жарынь какая! — молвил Иван, чтобы переменить разговор. — Скоро, поди, столб будет, а там деревнюшка. Туда, что ли, полдничать пойдем или в поле отдохнем?

Но Федор не мог уж угомониться и все бормотал:

— Сыщу я Правду, сыщу!

— А я так думаю, что ничего ты не сыщешь, потому что нет Правды для нас; время, вишь, не наступило! — сказал Иван. — Ты лучше подумай, на какие деньги хлеба искупить, чтоб до нового есть было что.

— К тому же Василию Игнатьеву пойдем, в ноги поклонимся! — угрюмо ответил Федор.

— И то придется; да десятину сенокоса ему за подожданье уберем! Батюшко, пожалуй, скажет: чем на платки жене да на кушаки третью пятишницу тратить, лучше бы на хлеб ее сберег.

— Терпим и холод и голод, каждый год все ждем: авось будет лучше... доколе же? Ин и в самом деле Правды не

свете нет! так только, попусту, люди болтают: «Правда, Правда...», а где она?!

— Намеднись начетчик один в Москве говорил мне: «Правда — у нас в сердцах; живите по правде — и вам и всем хорошо будет».

— Сыт, должно быть, этот начетчик, оттого и мелет.

— А может, и господа набаловали. Простой, дескать, мужик, а какие речи говорит! Ему-то хорошо, так он и забыл, что другим больно.

В это время навстречу путникам мелькнул полусгнивший верстовой столб, на котором едва можно было прочитать: от Москвы 18, от станции Рудаки 3 версты.

— Что ж, в поле отдохнем? — спросил Иван. — Вон и стожок близко.

— Известно, в поле, а то где ж? в деревне, что ли, харчиться?

Товарищи свернули с дороги и сели под тенью старого, накренившегося стога.

— Есть же люди, — заметил Иван, снимая лапти, — у которых еще старое сено осталось. У нас и солому-то с крыш по весне коровы приели.

Начали полдничать; добыли воды да хлеб из мешков вынули — вот и еда готова. Потом вытащили из стога по охапке сена и улеглись.

— Смотри, Федя, — молвил Иван, укладываясь и позевывая, — во все стороны сколько простору! Всем место есть, а нам...

БОГАТЫРЬ

В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выхолила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: иди, Богатырь, совершай подвиги!

Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит, один дуб стоит — он его с корнем вырвал; видит, другой стоит — он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит и в нем дупло — залез Богатырь в дупло и заснул.

Застонала мать зеленая дубравушка от храпов его перекатистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешачатами — и был таков.

Прошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и

чужие, и други, и супостаты не надивятся на него: свои боятся вообще потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А сверх того, и надежда есть: беспременно Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь, и нас перед всем миром воспрославит». Чужие в свой черед опасаются: слышь, мол, какой стон по земле пошел — никак, в «оной» земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснется!

И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»

И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала да, наконец, и приехала. Синица хвасталась-хвасталась да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили: ау, мужик!

Всё приделали, всё прикончили, друг дружку обворовали начисто — шабаш! А Богатырь все спит, все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит да перекатистые храпы кругом на сто верст пущает.

Долго глядели супостаты, долго думали: могущественна, должно быть, оная страна, в коей боятся Богатыря за то только, что он в дупле спит!

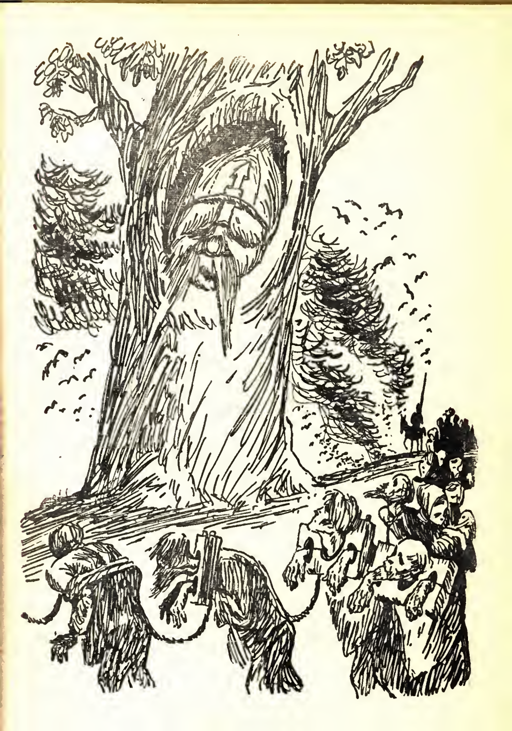
Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать; начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу Богатырь не пришел на выручку людишкам.

В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье наше!» А он вместо того в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило: думали, придет Богатырь, мирских людей накормит, а он вместо того в дупле просидел. В таком-то году и города, и селенья огнем попалило, не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ежева; думали: вот придет Богатырь и мирскую нужду исправит — а он и тут в дупле проспал.

Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.

Что ж это за Богатырь такой?

Многострадальная и долготерпеливая была оная сторона и имела веру великую и неослабную. Плакала — и верила;



вздыхала — и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил — воняет; другой подошел — тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» — молвили супостаты и ринулись на страну.

Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату — глядят, идти не с чем.

И вспомнили тут про Богатыря и в один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»

Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая дубравушка.

Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком — смотрит, ан у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.

Спи, Богатырь, спи!

ВОРОН-ЧЕЛОБИТЧИК

(Сказка)

Все сердце у старого во́рона изболело. Истребляют вороний род: кому не лень, всякий его бьет. И хоть бы ради прибытка, а то просто ради потехи. Да и само вороньё измалодушничалось. О прежнем вещем карканье и в помине нет; осыплют воро́ны гурьбой березу и кричат зря: вот мы где! Натурально сейчас — паф! — и десятка или двух в стае как не бывало. Еды прежней, привольной, тоже не стало. Леса кругом повырубили, болота повысушили, зверье угнали — никак честным образом прокормиться нельзя. Стало воронье по огородам, садам, по скотным дворам шнырять. А за это опять — паф! — и опять десятка или двух в стае как не бывало! Хорошо еще, что воро́ны плодущи, а то кто бы кречету, да ястребу, да беркуту дань платил?

Начнет он, старик, своих младших собратий увещевать:

«Не каркайте зря! не летайте по чужим огородам!» — да только один ответ слышит: «Ничего ты, старый хрен, в новых делах не смыслишь! нельзя, по нынешнему времени, не воровать. И в науке так сказано: коли нечего тебе есть, так изворачивайся. И все так ныне живут: дела не делают, а изворачиваются. Пропадать, что ли, нам! Мы еще где до́ свету встанем, снимемся с гнезд и весь лес обшарим — везде хоть шаром покати. Ни ягоды лесной, ни пичуги малой, ни зверя упало́го. Даже червь и тот в землю зарылся».

Слышит старый ворон эти речи и глубокую думу думает. Трудные бывали на его памяти времена. Целыми годами преследовала вороний род бескормица; без числа воронье погибало. Но тогда было правило: есть у тебя когти — рви ими свою грудь, а на чужой кусок не зарься! Однако и тогда уж было приметно, что недолго воронье эту школу выдержит. Смотреть, как другие живут припеваючи, а самому добровольно умирать с голода — от одного этого хоть чье хочешь сердце изноет.

И наука, кстати, на помощь пришла: клюй, что можешь и где можешь! Удастся набить зоб — летай на свободе сытый и веселый; не удастся — виси простреленный на огороде вместо чучела! На то война.

Когда принес его сюда, едва оперившегося, старый батько из-за тридевяти морей, места здесь были вольные. Лес да вода — и глазом не окинешь. В лесу всякой ягоды, всякого зверя, птицы — всего вдоволь; в воде рыба кишмя кишела. Начальником и тогда у них был, как и теперь, ястреб, но тогдашний ястреб и сам по себе был по горло сыт, да и прост был, так прост, что и до сих пор об его простоте анекдоты ходят. Любил, правда, молоденькими воронятами полакомиться, но и тут справедливость наблюдал: сегодня из одного гнезда унесет вороненка, завтра из другого; а ежели видит, что гнездо бедное, упалое, так и безо всего улетит. И подати тогда были не тяжелые: по яйцу с гнезда, да по перу с крыла, да с каждых десяти гнезд по вороненку орлу в презент. Отбыл повинность — и спи на оба уха.

Но чем дальше шло, тем глубже и глубже все изменялось. Облюбовал вольные места человек и начал с того, что пустил в ход топор. Леса поредели, болота стали затягиваться, река обмелела. Сначала по берегу реки появились заимки*, а потом деревни, села, помещичьи усадьбы. Стук топора гулким эхом раздавался в глубинах лесных, нарушая обычное течение жизни зверей и птиц. Старейшины вороньего племени уже тогда

предсказывали, что грозит что-то недоброе, но молодое воронье с веселым карканьем кружилось около человеческих жилищ, словно приветствуя пришельцев. Строгие заветы предков наскучили молодым сердцам; лесные глубины опостылели. Потребовалось новое, диковинное, неизведанное. Воронье разделилось на партии; начались пререкания, усобицы, рознь...

Одновременно с этими изменениями произошли изменения и в высших орнитологических сферах. Старый ястреб оказался стоящим не на высоте своей задачи. Он мог управлять только при патриархальных порядках, но когда отношения усложнились, когда на каждом шагу в воронье существование врывались новые элементы, административное чутье окончательно его покинуло. Главные начальники называли его старым колпаком; воронье оспаривало его власть и бесцеремонно каркало ему в уши всякую чепуху. Он же, вместо того чтоб пресечь зло в самом корне, только благосклонно хлопал глазами и шутя говорил: вот ужо придет реформа, узнаете вы, как кузькину мать зовут! Наконец и ожидаемая реформа пришла. Старика сдали в архив, а прислали вместо него начальником совсем молодого ястреба, да в помощь к нему, в видах пущего контроля, поставили кречета.

Прилетели новые начальники и сказали вороньему племени немилостивое слово. «Я вас к одному знаменателю приведу!» — цыркнул ястреб, а кречет прибавил: «И я тоже». Сказавши это, объявили, что отныне налоги увеличиваются против прежнего втрое, выдали окладные листы и улетели.

Началось окончательное разорение. Воронье роптало: «Налоги установили немилостивые, а новых угодьев не предоставили!» — раздавалось по лесу; но ни ястреб, ни кречет не внимали жалобам воронья и посылали копчиков ловить смутьянов, которые зря пустые речи в народ пущают. Много было тогда гнезд разорено, много вороньего племени в плен уведено и отдано на съедение волкам и лисицам. Думали, что воронье, испугавшись, на хвосте дани принесет. Но воронье от испуга только металось и жалобно каркало: «Хоть режьте, хоть стреляйте, а даней нам взять неоткуда!»

Так оно и посейчас идет: воронье разоряется, а казна не наполняется. Что и добудет ворона на стороне, и то копчик на пути отнимет. Словом сказать, хуже нельзя. Надумало было воронье новых местов искать и летунов вперед для разведок отправило, но они улететь улетели, а назад не воротились. Может быть, заблудились, может быть, по пути копчики задавили, а может быть, и сами собой с голоду погибли. Да и

шутка сказать — с насиженных мест неведомо куда лететь! Нет нынче вольных мест! всюду проник человек! И ему тесно стало. Идет вперед с топором; стонут леса, бегут звери, а он с утра до вечера корчует пни, расчищает пашню, рубит избу, а ночью дрожит в землянке от холода и голода в ожиданье, когда-то вся эта сутолока в порядок придет.

Думал-думал старый ворон и наконец надумал: надо лететь всю правду объявить. Только стар он и слаб — долетит ли? Ведь лететь — дорога не близкая. Сначала надо ястребу челом бить, потом кречету, а наконец, и к коршуну, который в ту пору вороньим племенем, вроде как начальник края, правил.

У птиц тоже, как у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: был ли у ястреба? был ли у кречета? а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прослывешь.

Наконец, однако ж, снялся ранним утром с гнезда и полетел. Видит, сидит ястреб на высокой-высокой сосне, уж сытый, и клюв когтями чистит.

— Здравствуй, старче! — приветствовал его ястреб благодушно. — Зачем пожаловал?

— Прилетел я к твоему степенству правду объявить! — горячо закаркал старый ворон. — Гибнет вороний род! гибнет! человек его истребляет, дани немилостивые разоряют, копчики донимают... Мрет вороний род, а кои и живы — и тем прокормиться нечем.

— Вот как! А не от нерадивости ли вашей все эти беды на вороний род опрокинулись?

— Сам ты знаешь, что нерадивости в нас нет. С утра до ночи мы шарим и корму доглядываем. Живем в трудах, как честному воронью жить надлежит, только добыть что-нибудь честным образом невозможно стало.

Ястреб на минуту задумался, словно не решался настоящее слово выговорить, но наконец сказал:

— Изворачивайтесь!

Однако решение это не удовлетворило, а только пуще взволновало ворона.

— Знаю я, что нынче все изворотами живут, — горячо ответил он, — да прост на это наш вороний род. Другие миллионы крадут, и все им как с гуся вода, а ворона украдет копейку — ей за это смерть. Подумай, разве это не злодейство: за копейку — смерть. А ты еще учишь: изворачивайтесь! Прислан ты к нам начальником, чтоб защищать нас от обид, а явился первым разорителем и угнетателем! Доколе мы будем терпеть? Ведь ежели мы...

Ворон не договорил и испугался: не легко, видно, правду-то объявлять.

Но ястреб, как сказано было выше, был сыт и смотрел на незваного гостя благодушно.

— Знаю, не договаривай, — сказал он, — давно мы эту песню слышим, да покуда бог еще миловал... А ты все-таки на ус себе намотай: прилетел ты ко мне правду объявить, да на первом же слове и запнулся... Все ли ты сказал?

— Все покамест, — отвечал ворон, продолжая робеть.

— Ну, так я тебе вот что отвечу: правда твоя давно всем известна; не только вам, воронам, а и копчикам, и ястребам, и коршунам. Только не ко двору она в наше время пришлась, а потому, сколько об ней ни объявляй, хоть на всех перекрестках кричи — ничего из этого не выйдет. А когда наступит время, что она сама собою объявится, — этого покуда никто не знает. Понял?

— Понял я одно: что вороньему роду конец пришел! — с горечью ответил ворон.

— Ну, коли не понял, давай разговаривать. Говоришь ты, что человек вас истребляет, — но разве можем мы, птицы, против человека идти? Человек порох выдумал — а мы чем на это ответить можем? Выдумал человек порох — и палит в нас: что вздумается, то над нами и делает. Мы все равно что мужики: со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только знай перевертываются. Каким таким манером случилось, что Губошлепов дорогу заполучил, а у них после того по гривне в кошеле убавилось — разве темный человек может это понять? А дело-то простое: Губошлепов порох выдумал, а мужики, ровно черви, только в навозе копаться умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червю жить подобает. Червю и вы, воронье, потачки не даете; вспомни-ка! что, если б он на вас гвалт поднял, не вы ли бы первые удивились: червь, мол, ползущий, а тоже разговаривает! Так-то, старче! Кто одолеет, тот и прав. Понял теперь?

— Погибать, значит, надо? Ах, какое жестокое ты слово сказал! — затосковал ворон.

— Жестоко ли мое слово или не жестоко, не в том суть, а в том, что и я правды от тебя не утаил. Не той правды, которой ты ищешь, а той, которую, по нынешнему времени, всякий в расчет принимать должен. Но будем продолжать разговор. Ты говоришь, что копчики корм у вас на лету отнимают, что я сам, ястреб, ваши гнезда разоряю, что мы не

защитники ваши, а разорители. Что ж: вы кормиться хотите — и мы кормиться хотим. Кабы вы были сильнее — вы бы нас ели, а мы сильнее — мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе — свою; только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает. Понял?

— Погибать, погибать надо! — продолжал твердить старый ворон, почти не сознавая действительного значения ястребовых речей, но инстинктивно чувствуя, что они заключают в себе нечто неслыханно жестокое.

Ястреб оглянул челобитчика с головы до хвоста, и так как был сыт, то захотелось ему пошутить над стариком.

— А хочешь, я тебя съем! — сказал он; но, увидев, что ворон инстинктивно сделал скачок назад, продолжал: — Ну тебя! тощ ты и стар — какая это еда! Ну-тка, распахни-ка жилет!

Ворон распустил крылья и сам удивился: кости да кожа, ни пуху, ни перьев нет — волк голодный и тот на такую птицу не позарится.

— Вот видишь, каков ты стал. А все оттого, что о правде думаешь. Кабы ты по-вороньи, без думы жил — такой ли бы ты был! А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты еще, что поборы с вас, воронья, немилостивые берут, — и это правда. Но подумай: с кого же брать? Воробьи, синицы, чижи, зяблики — много ли они могут дать? Рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки — эти живут каждый сам по себе, их и днем с огнем не отыщешь. Одно воронье живет обществом, как настоящие мужики, и притом само о себе непрестанно возглашает — что же удивительного, что оно в ревизские сказки попало? А коли попал в ревизские сказки* — держись! Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то, стало быть, так нужно. Потребностей больше — и сборов больше: это хоть кого хочешь спроси. Так-то вот старче. Ты правду сказал, и я правду сказал; а чья правда крепче — на это отвечает ваше воронье житье. Ну, а теперь лети восвояси, а я вздремнуть хочу.

Однако ворон не возвратился восвояси, а направил полет к кречету.

«Будь что будет, — думал он, тяжело взмахивая старческими крыльями, — а я доведу дело до конца! Если и кречет моей правды не примет, то полечу в губернию к самому коршуну, а от правды не отступлюсь!»

Кречет жил в впадине горного ущелья, и доступ к нему был очень труден. У порога его жилища сидел дежурный копчик и принимал просителей. На этот раз дежурным оказался

известный всему вороньему роду копчик Иван Иваныч, фаворит кречета (слухи шли даже, что он его побочный сын), который поручал ему самые важные и секретные дела. Это был лихой малый, с виду добродушный, с благосклонными и даже изысканными манерами. Не прочь был и побалагурить, и кутнуть где-нибудь за облачком, и полетать с девушками-чечеточками в горелки, и даже одолженье другу-приятелю сделать; но все это благодушие оставалось при нем лишь до тех пор, покуда он находился вне службы. Как только он приступал к исполнению обязанностей (особливо секретных поручений), то мгновенно преображался. Становился холоден, суров и исполнителен до жестокости. Прикажут ему настичь — он настигнет; прикажут удавить — задавит. Если птица и вдвое больше и сильнее его, он таким кубарем к ней подлетит, что та загодя начинает уж кричать и метаться от тоски. Вообще птицы, которые бывали у него в переделке, при одном имени его трепетали от страха.

— Не проспался, старик? — иронически приветствовал челобитчика Иван Иваныч.

Старый ворон понял, что здесь уже все известно. И у птиц существуют свои лазутчики, через которых не только действия, но и тайные помышления обывателей известны.

— Какой уж у стариков сон! — уклончиво отвечал он.

— Правду объявлять прилетел? — продолжал копчик. — Ну, да, впрочем, это твое дело. Доложить?

— Да, уж сделай такую милость.

Иван Иваныч юркнул в впадину и около часа там оставался. Ворон с замиранием сердца ждал его появления. Наконец он показался.

— Велено тебе сказать, — молвил он, — что растабарывать с тобой некогда. Правда твоя искони всем известна, да, стало быть, есть в ней порок, ежели она сама собой не проявляется. Беспокойный у тебя нрав, пустые ты речи в народ пущаешь. Давно бы за это съесть тебя надо, да, слышь, стар ты, худ и немощен. К начальнику края, чай, теперь полетишь?

— Нет уж, что уж... — хотел было утаиться ворон.

— Не запирайся! насквозь я тебя вижу! Что же, лети! только как бы тебе очи за твою правду не выклевали. Смотри не прогадай! Да ты, поди, и дороги не знаешь; видишь вон облако, там, над самым этим облаком, — там и есть.

Несмотря на предсказание копчика ворон решился довести свое челобитье до конца. Долгим и кружным путем взбирался он, ночуя в покинутых звериных норах и



пропитываясь ягодами, изредка попадавшимися на отрогах гор. Наконец он врезался в облако, и перед глазами его предстало волшебное зрелище.

Несколько смежных горных вершин, покрытых снегом, пламенели в лучах восходящего солнца. Издали казался точно сказочный замок, у подножия которого застыли облака, а наверху вместо крыши расстилалась бесконечная небесная лазурь.

Коршун сидел на скале, окруженный целой массой разнообразнейших птиц. По правую сторону его сидел белый кречет, помощник его и советник; у ног кувыркались всех сортов чиновники особых поручений: попугаи, ученые снегири и чижи; сзади хор скворцов докладывал утреннюю почту; в сторонке, на отдельной вершине, дремали совы, филины и нетопыри, образуя из себя нечто вроде губернского совета; вороны во множестве мелькали вдали, с перьями за ушами, строчили указы, предписания и донесения и кричали: «С пылу, с жару, по пятачку за пару!»

Коршун был ветхий старик и от старости едва-едва скрипел клювом. В ту минуту, когда у ног его опустился ворон, он только что пообедал и в полудремоте, смежив очи, покачивал головой, несмотря на оглушающий говор и шум. Однако появление челобитчика произвело среди птиц некоторый переполох, благодаря которому коршун встрепенулся.

— С просьбицей, старче? — спросил он ворона ласково.

— Прилетел я из-за тридевяти земель правду твоему великостепенству объявить! — начал ворон восторженно, но тут же был остановлен кречетом.

— Не разводи риторики! — холодно прервал его последний. — Докладывай дело без украшений, ясно, просто, по пунктам. Что тебе надобно?

Начал ворон по пунктам свое челобитье излагать: человек вороний род истребляет, копчики, ястреба, кречета донимают, сборы немилостивые разоряют... И каждый раз, как кончит он один пункт, коршун поскрипит клювом и молвит:

— Правда твоя, старче!

Сердце играло в груди старого ворона при этих подтверждениях. «Наконец-то, — думалось ему, — увижу я эту правду, по которой сызмлада тоскую! Послужу своему племени, порадею за него!» И чем дальше лилось его слово, тем горячее и горячее оно звучало. Наконец он высказал все, что у него было на душе, и замолк.

— Все ли ты сказал? — спросил его коршун.

— Все, — ответил ворон.
— У ястреба, у кречета челом бил?
— Бил и у них.

Он кратко изложил свой разговор с ястребом, а также свое неудавшееся свидание с кречетом.

— Так вот что я тебе на твою правду скажу, — молвил коршун, — больше двухсот лет я сижу на этом утесе и хоть бочком да на солнце смотрю... Но Правде и до сих пор ни разу взглянуть в лицо не мог.

— Но почему же? — в недоумении каркнул ворон.

— А потому, что вместить ее птице не под силу. Ежели кто об себе думает, что он правду вместил, тот и выполнить ее должен; а мы, стало быть, не можем выполнить — оттого и смотрим на нее исподлобья. Думается: авось либо она мимо пройдет!

Коршун на минуту задумался и продолжал:

— Жестокое тебе слово ястреб сказал, но правильное. Хороша правда, да не во всякое время и не на всяком месте ее слушать пригоже. Иных она в соблазн ввести может, другим — вроде укоризны покажется. Иной и рад бы правде послужить, да как к ней с пустыми руками приступиться! Правда не воро́на — за хвост ее не ухватишь. Посмотри кругом — везде рознь, везде свара; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет... Оттого каждый и ссылается на *свою* личную правду. Но придет время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна, — тогда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются, как дым, и все мелкие «личные правды». Объявится настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придет и весь мир осияет. И будем мы жить все вкупе и влюбе. Так-то, старик! А покуда лети с миром и объяви вороньему роду, что я на него, как на каменную гору, надеюсь.



ПРИМЕЧАНИЯ

Книгу сказок Щедрин писал на протяжении восемнадцати лет. Первые три сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик» — были написаны в 1869 году и опубликованы тогда же, в книге II и III журнала «Отечественные записки», под заголовком: «Для детей». После этого к сказкам Щедрин не обращался более десяти лет. В 1880 году он написал сказку «Игрушечного дела людишки» и опубликовал ее в журнале «Отечественные записки» № 1. Она была задумана как начало цикла о людях-куклах, но продолжения этот цикл не имел. С 1882 по 1886 год Щедриным было написано большинство сказок. Всего их в книгу сказок входит тридцать две. Публиковать сказки удавалось с большим трудом, и часто в искаженном виде, о чем свидетельствуют письма Щедрина тех лет. Большинство сказок Щедрина по приказу цензуры вырывалось из журнала. Они потом выходили в нелегальных изданиях за границей и в России. Сказка «Богатырь» была напечатана только в 1922 году.

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ

Стр. 15

Служил... в школе военных кантонистов — в школе для солдатских сыновей. Такие школы были созданы при Петре I. Существовали до 1856 года. Режим в них был крайне суров.

«Московские ведомости» — реакционная газета, редактируемая Н. Катковым в 70—80-е годы.

Пикули — мелкие овощи, маринованные в уксусе.

Вавилонское столпотворение — библейское сказание о том, как жители Вавилонского царства были наказаны за то, что хотели построить башню до неба. Бог смешал их языки, и они перестали друг друга понимать.

На бобах разводить — то есть гадать.

ДИКИЙ ПОМЕЩИК

Стр. 23

Временнообязанные — после реформы 1861 года крестьян освобождали от крепостной зависимости, но они обязаны были работать на помещика за право пользования землей.

Без винной и соляной регалий — без государственной монополии на вино и соль.

Пахнет водворением — ссылкой.

Древний Исав — по библейскому преданию, один из родоначальников еврейского народа.

ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ

Стр. 31

Аридовы веки — долгие века. По имени библейского патриарха Иореда, который, по преданию, прожил 962 года.

Жизнью жуировать — наслаждаться.

Жизнь прожить — не то что мутовку облизать. — Мутовка — деревянный предмет для взбалтывания жидкости. Переиначенная пословица: «Жизнь прожить — не поле перейти».

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

Стр. 37

Аманатом — заложником.

МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ

Стр. 42

Скрижали Истории — по библейским преданиям, каменные плиты, где были записаны десять божьих заповедей. Выражение употребляется в смысле увековечивания того или иного события или лица.

Как кузькину тещу зовут — переиначенная поговорка: «Кузькину мать зовут», угроза расправиться с виноватым.

Сколько прогонов и порционов извел — денег на проезд и пропитание.

Корни и нити разыскивать да кстати целый лес основ выворотил. — Намек на реакционную прессу, требовавшую отыскания «корней крамолы» и защиты «основ» существующего социального строя.

Инфантерии (итал.) — пехоте; в данном случае — отчислить в запас.

Лесные куранты тискал — печатал газету «Время».

При Магницком. — Магницкий М. Л. (1778—1855) — известный мракобес, гонитель просвещения, друг Аракчеева.

ВЯЛЕНАЯ ВОБЛА

Стр. 52

В эмпиреях не витала — в мечтах.

Партикулярный человек — штатский.

«Вперед без страха и сомненья!» — строка из стихотворения А. Плещеева, ставшего затем песней прогрессивной молодежи.

С Макаром, телят не гоняющим, познакомились — с ссылкой за политические убеждения.

Агломерат (лат.) — скопление, соединение.

ОРЕЛ-МЕЦЕНАТ

Стр. 63

Панегирик (греч.) — хвалебная речь.

Ревизские сказки — переписные листы, учитывающие количество населения. Перепись населения — ревизия — проводилась с различными целями.

Окладные листы — налоговые.

«Науки юношей питают» — «Науки юношей питают, отраду старцам подают». Из оды М. В. Ломоносова (1747).
Кунштюки (нем.) — фокусы.
Генеалогия (греч.) — родословная.
Запрятали его в куролеску — в клетку.

ВЕРНЫЙ ТРЕЗОР

Стр. 83

Масонский знак — то есть знак принадлежности к масонскому религиозно-мистическому движению, распространенному в Европе в XVIII веке, а в России в первой половине XIX века. Масоны в России считались политическими вольнодумцами и преследовались правительством.

СОСЕДИ

Стр. 94

От акциза одинаково свободны были — от налога.
С первого же абцуга — с первого захода.

ВОРОН-ЧЕЛОБИТЧИК

Стр. 130

Заимки — земельные участки.
Ревизские сказки — см. примеч. к «Орлу-меценату».

СОДЕРЖАНИЕ

М. Горячкина. Боевая сатира 5

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил 15
Дикий помещик 23
Премудрый пискарь 31
Самоотверженный заяц 37
Медведь на воеводстве 42
Вяленая вобла 52
Орел-меценат 63
Карась-идеалист 72
Верный Трезор 83
Недреманное око 90
Соседи 94
Либерал 100
Баран-непомнящий 105
Коняга 110
Деревенский пожар (*Ни то сказка, ни то быль*) . 116
Путем-дорогою (*Разговор*) 123
Богатырь 127
Ворон-челобитчик (*Сказка*) 130

Примечания 140

Для средней школы

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

СКАЗКИ

ИБ № 4139

Ответственный редактор Н. В. Белякова. Художественный редактор С. И. Нижняя. Технический редактор И. П. Савенкова. Корректоры Л. А. Рогова и Е. И. Щербакова. Подписано к печати с готовых матриц 28.03.79. Формат 60×84/16. Бум. типогр. № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,37. Уч.-изд. л. 8,38. Тираж 1 700 000 (1—500 000) экз. Заказ № 856. Цена 40 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Салтыков-Щедрин М. Е.

С16 Сказки/ Сост., предисл. и примеч. М. С. Горячкиной; Рис. М. Скобелева и А. Елисеева. — М.: Дет. лит., 1979. — 143 с. — (Школьная б-ка).

В пер.: 40 к.

Сказки Салтыкова-Щедрина — острая сатира на самодержавный царский строй и его порядки. В иносказательной форме писатель изобличает произвол и взяточничество царских сановников («Медведь на воеводстве»), самодурство и лицемерие помещиков («Дикий помещик», «Деревенский пожар»), ревнителей полицейского режима («Недреманное око»), глупость обывателя («Премудрый пискарь»). С глубоким сочувствием выведен голодный, измученный народ («Коняга») и др.

С $\frac{70803-250}{М101(03)79}$ Без объявл. **Р1**





40 коп.

